

Вячеслав КАРПЕНКО

16+



ПРИДОРОЖНИК

РУССКИЙ
ПЕН
ЦЕНТР

Вячеслав Карпенко

Придорожник

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Карпенко В.

Придорожник / В. Карпенко — «ЛитРес: Самиздат», 2019

Книга «Придорожник» российского писателя Вячеслава Карпенко разножанрова: повесть «Почём нынче тот пуд соли?», рассказывает о море и моряках, о сложностях любви и ожидания. А страницы «Вожаков», названных автором Тянь-Шаньской поэмой, вводят читателя в суровый мир отношений волка и марала, отстаивающих своё право на жизнь и продолжения Рода, и браконьеров, безоглядная корысть которых рушит природную гармонию до трагизма собственной гибели. Раздел «Миросмысл и мирообраз Сергея Калмыкова» познакомит читателя с трагичной судьбой гения.

Содержание

Следы на воде	7
Свой парень	8
Настроение	9
Дороги	10
Возвращение	11
Почём нынче тот пуд соли?	12
1	12
2	14
3	16
4	21
5	23
6	29
7	32
8	35
Рождественское варенье	38
Звериными тропами	41
Вожак	42
I	42
II	44
Конец ознакомительного фрагмента.	45

*Ночью все кошки серы,
И красное видится – черным.
Течет грязевым селом
Кровь по вскрытым аортам.*

*Дымится она и густеет,
И в землю уходит усталость.
И всходит то, что посеешь,
Но вовсе не то, что мечталось...*

В. К.



Вячеслав Карпенко (1938 г.) учился в Мореходном училище, Ленинградском университете (Ленинград-Санкт-Петербург), закончил Высшие литературные курсы (Москва). Работал в геологических партиях (Коми, Карелия), служил в ВМФ, ходил в море (Мурманск, Калининград), был журналистом (Калининград, Алма-Ата), электриком, кочегаром, егерем. Трудился в журналах «Новый фильм», «Простор» (Алма-Ата), «Запад России», «Параллели» (Калининград). Автор десяти книг повестей, рассказов, сказок («Вожаки», «Рыба была большая», «Мой правый берег», «Истинно мужская страсть» и др.). По его сценариям сняты документальные фильмы «Сестрички», «Это Я вышел на улицу» и др. Награждён «Орденом Мухи» (Казахстан, Алма-Ата), премией им. К. Донелайтиса (Литва, Вильнюс). Член Русского ПЕН-клуба, Союза российских писателей.

Следы на воде



Свой парень

Мотор ревел надсадно, когда колёса влетали в заснеженную колдобину. Совсем недавно утихла пурга, прорвавшая стену леса, который тесно подступал к дороге по обе стороны. Тогда они выходили из кабины «лендлизового» «Студебеккера» и лопатами отыскивали колею.

... Два человека, замученных двухсоткилометровой дорогой, сжимаемых морозом и съевшимся лесом. Единственной их опорой в этом замершем за стёклами мире оставался луч фары да пропахшая бензином теплота кабины. Вторая фара была разбита при погрузке.

Они везли обсадные трубы для буровой бригады со станции Княжпогоста, продрогшего нервного узла «железки» Коми-республики. Трубы необходимо доставить срочно: прервать хоть на час работу на буровой означало гибель скважины – зима...

Оставалось двенадцать часов и сто двадцать километров пути. И заносы на дороге подстерегали машину всё чаще. И мотор всё сильнее задыхался в очередном усилии, пока не закипела вода в радиаторе. Приходится остановиться и развести костёр, чтобы натопить снегу. Младший, почти мальчишка, попавший на север из романтического упрямства, неловко оскользнулся, наливая воду в парившее отверстие, и обернул ведро на себя. И теперь надо вновь набивать снегом прокопченное ведро, а сорокаградусный мороз сразу заковал валенки, ледяной коркой прихватил ватные брюки.

Через несколько километров по новой пришлось отгрести из-под колёс снег. Ноги его сжимало обручем, кружилась голова, и тянуло ко сну, но он кусал губы и ни за что не признался бы в своей слабости. Потом вроде и отпустило, и на следующем перегоне младший даже закончил рассказывать о белом безмолвии, пленившем троих путников, о борьбе и победе, о тайной нежности мужской дружбы. И о волках, которые бывают благороднее человека – не замечены в каннибализме.

– Смотри-ка ты, – покачивал головой водитель, не отрывая глаз от дороги. – Здорово, видать, знал этот Лондон нашу жизнь. Налей... и себе!

Спирт обжигал горло, они открывали двери, чтобы зачерпнуть снега. «Считай, что мороженое» – советовал водитель, с усмешкой кося взгляд на молодого.

– Джек Лондон – это писатель, а всё прошел сам: парнишка «на подхвате», газетчик, матрос, золотоискатель, кажется, даже пират...

– Интересный, стало быть, парень. Ты-то как?.. А сейчас он где?

– Умер. Сорок лет уже...

– Свой был... Пошли копать, а то мотор сорвём начисто.

И вновь они копали. И ехали дальше. И опять отбрасывали снег, освобождая вязнущие колёса. Пока не показались огни Визинги – небольшого села на берегу северной реки Сысолы, теперь закованной метровым панцирем льда.

Когда младшему разрезали валенки, чтобы снять их с опухших ног, он закричал. Скрипучим криком, вырвавшемся наружу и возвращающим сознание.

На следующий день сорокалетний водитель протиснулся в наиндевелую дверь сельского медпункта.

– Вот: принёс, – он добродушно выдохнул спиртово-табачный пар. – Может, быстрее время-то уйдёт. Ты здесь поправляйся, ничего...

Это была книга Джека Лондона «Смок Белью». И – бутылка спирта, питьевого.

Настроение

... Меня всегда раздражали белые ночи. Белые ночи и трамваи.
Видимо, потому что они отрицали меня. Вместе с тобой. Отрицали... и уходили от меня.
Всегда – от меня. Белые ночи ОТ меня. ОТ меня – трамваи. Они и тебя скрывали или увозили
– ОТ...

От... от... от... всегда – от. Только – ОТ.

А я ждал – КО мне... И ты знала это.

Я тоже пробовал их не замечать.

Поднимал голову, поворачивался спиной. Просто – закрывал глаза...

Но напускная гордыня оборачивалась бессонницей. Или – сбитыми ногами, гудящими
от пройденных километров. Поражением, нет... тоской.

... Есть на Севере болезнь. МЕРЯЧКА – МОРОКИ – так её называют северные люди.

Болезнь снегов и света. Болезнь... Красоты! Болезнь слабости и одиночества.

Неприятя Природой – Человека. Непрощения Блудного Сына.

Здесь человек живёт день. Месяц. Несколько месяцев.

Над ним – дёргается Небо. Над ним – изгибается, колышется, взрывается и ревет Небо.
Ревёт, бушует Свет. Свет... Свет и Цвет. Краски. Свето-краски!

Зелёные, розовые, красные, оранжевые, голубые. Фиолетовые, оранжевые. Оранжевые,
как абрикос – на исчерна-синем холоде ночи. Оранжевые. ОРАНЖЕ...

– Потушите Небо! – выскакивает в снег и кричит человек. Человечек – под колышущимся,
раскалённым морозом небом. – По-отушите небо... Потуши... туши...

... Ушёл, наверное, последний трамвай?

Посмотри: под ногами теплятся каштаны. Влажные каштаны, за коричневым их глянецом
– сочувствие, там жизнь – за глянцево-влажной коричневой кожей.

Ты набираешь пригоршни каштанов. Матово-влажных. Жажущих тепла и земли. Жажущих
своего слияния, возвращения в её, Земли, лоно.

И ты просыпаешься ночью, и тянешься к их сочувственному теплу... Ты уверена, что
можно вобрать в себя это тепло – и ничем не отвечать?

К утру каштаны засыхают. Чего, кажется, не доставало им? – Немногого, как и нам: раз-
делённости их одиночества. Земли. Слияния...

Ещё ползает белая ночь. Уже взвизгнули трамваи.

– Потуши... ПО-ТУ-ШШШИ-ТЕ-НЕ-БО!..

Дороги

Мне дважды повезло. Мне просто удивительно повезло. Я приехал в этот город. Сумел приехать, не мог не приехать. А это было трудно сделать – приехать. Трудно и – необходимо. Необходимо, пусть и трудно. Необходимое – всегда трудно.

Но я приехал. Я не мог не приехать.

Впрочем, не приехал – прилетел, хоть это и ничего не меняет. Я прилетел и вошёл в телефонную будку.

– Не могу ли я услы...

– Ох, это ведь ты... опять – ты! Ну конечно же – ты... Так можно ведь заикой стать – не ждала...

Ну конечно же – я. Приехал, прилетел. Примчался. Заявился, да? Да. Да-да. Прилетел в эту будку. Телефонную. Теперь все будки – мои.

Ты только говори. Всё, что угодно – говори. Молча – говори.

Да. Да-да-да... Чего я хочу? Действительно, чего я хочу...

Я хочу совсем немногого.

Совсем необходимого. Хочу так много. Счастья увиде... «Алло! Алло... Ал...»

Гудки.

Короткие.

Короткие. Как – свидание. Как – жизнь.

Возвращение

*«Девушка, которая с первым лучом солнца положит на могилу
Бируте цветок, найдёт его вечером в руках суженого...»
(...в Паланге)*

Осень осыпала золотом землю, но хризантемы на клумбе за соседской оградой ещё белели среди пожухлой травы. Последний Дар золотой Осени.

«АЛЛО, ты сейчас выйдешь, и мы поедем... мы уедем... совсем уедем!»

– Но...ты?! Здравствуй, для начала! Откуда...

«Конечно – здравствуй. ЗДРАВСТВУЙ! Я жду тебя, и она ждёт – Бируте. Ты ведь не забыла её?»

– Забыла-а?! Ты...

...Весталке нельзя любить. Только для Бога горит твой костёр. Ты забылась, Бируте? Ты не можешь – не должна – смотреть в глаза смертному. Даже – князю. Твоему – Князю. А ты – Любишь!

Бойся, Бируте, страшна мечь за Твою любовь. Не Бога мечь, нет – что Богу до маленькой весталки, закланной людьми Ему в невесты. Закланной людьми, чтобы откупиться за свои грехи. Страшна мечь оскорблённого шептания, обиженной надежды на спасение. Чувствуешь, какие взгляды змеятся по твоим плечам?..

Оглянись: слабеет огонь, который тебя обрекли поддерживать. Вернись – и опустятся руки, уже поднимающие камни в пыли собственных маленьких страстей. Вернись... забудь Князя и заглуши биение своего сердца, успокой дыхание, так вызывающе обостряющее грудь. Вернись, забудь – тебе, как прежде, будет сытно и покойно – бесстрастно и равнохладно. Вернись – это просвистел первый камень... его скоро назовут Громом, этот камень. Так удобно – взвалить на богов и гром от них... Они похоронят твою любовь... чтобы потом... позже... много позже петь о тебе, Весталка, грустные песни...

Шумит в соснах прибой. Что-то шепчут ветру дюны. Тает под луною выплеснутый морем янтарь...

«Послушай, зачем ты встаёшь так рано? Где нашла ты цветок такой поздней осенью? Вернись: ты заклана, по плечам твоим уже змеятся взгляды оскоплённых кастрюль. Вернись – тянутся руки за камнем, обёрнутым в сплетню...

– Алло, я ведь могу... могу поднять этот цветок!..

Тает поднятый тобою янтарь.

Почём нынче тот пуд соли? Повесть в рассказах

– А море ещё солоней, чем я думал...

1

*«Обнаружили баркас белого цвета,
Без хода, с самодельным парусом».
(Из радиограммы с борта поискового самолёта)*

... – Страшно мне, Дима, никогда я, видно не привыкну. Возвращайся быстрее... вернёшься – может, уедем отсюда. Уедем? Ты механик, везде работу найдёшь...

Они стояли у самой воды, по щиколотку в ползушем, прогретом с утра песке. Невдалеке, у хлипкого дощатого причала покачивался баркас. Солнце отражалось в его недавно крашенных бортах. На баркасе всё было готово к отходу. Бригадир, возившийся на борту, разогнул спину и махнул рукой.

– Пошли, Дмитрий! Прособирались, последние нынче отваливаем.

– Не верю я ему, морю этому...

Проходов провел рукой по щеке жены, успокаивая.

– Зря ты... Иду-иду, Николаич! Зря ты, Валюха, в море и так горькой соли много. Привыкай уж, к вечеру ведь вернемся. Вон какая погода отличная, далась бы рыба!

Баркас медленно отвалил. Дмитрий прибавил оборотов, и берег стал удаляться быстрее.

– Стоит твоя-то, не уходит, – кивнул бригадир. – Не обвыкнет все никак, моя вот меня с вечера к черту на рога послала и носу на прощанье не высунула, напрощалась за двадцать лет... Да тоже – вид один делает!.. Так, говоришь, Мить, квадрат вчера узнал?

– Корешок у меня на тральце штурманит: рассказывал, что там косяк тресковый жирует, они на пути засекли. Далековато...

– А нам чего – далековато, с мотором чать.

Мерно постукивал мотор. Оба матроса задремали – видно, вчера в соседний колхоз по девкам бегали. Николаич курил и в такт мыслям своим и ритму двигателя сплевывал за борт.

Проходов думал о том, что только в рейсе и можно помолчать: самое мужское дело – молчание о своем... И еще думал, что пора бы переходить на траулер, вон какие на днях еще два красавца-СРТ¹ пришли в управление. Поработал два года – хватит, а то и забудешь все, чему в мореходке учился. Вон, постукивает себе, у этого движка и мотористу скучно. Да-а, должна же Валюха когда-то привыкнуть к его рейсам... Если на траулере – это по три-четыре месяца, а здесь из-за одного дня в рев ударяется. Ребенок нужен, вдвоем бы и ждали. Привык же он, коренной смоляк, к Балтике, и она ничего – притерпится.

А лов удался. Не соврал ему штурман. Косяк попался плотный, баркас потихоньку оседал под треской. Сначала брали подряд. Дмитрий посмотрел на возбужденное лицо бригадира, шутливо крикнул в самое ухо: «Всю Балтику на берег вывернуть хочешь?..»

– Только крупняк беру!

И не заметили, как с вечера приползли от горизонта тучи. Как налетел ветер, который, впрочем, сразу и ослаб. Лишь сильная зыбь качала баркас, да изредка набежит волна покруче. Но какой же рыбак оставит сети за бортом, да еще с рыбой.

¹ СРТ – средний рыболовный траулер.

– Выберем и – к дому, – Николаич поторапливал свою маленькую бригаду, уже предвкушая, как дивятся на берегу их удаче.

Забилась последняя треска, засыпая на борту, как проснулся шторм. Море рывкнуло и вцепилось в баркас. Ветер сорвал пену и мокрыми дробинами швырнул в лицо капли.

Дмитрий вывел регулятор оборотов двигателя до предела. Высчитал, что часа полтора ветер будет помощником, а потом придется повернуть, и волны начнут лупить по скулам.

– Проскочим, ничего! – крикнул он бригадиру, удерживающему руль.

А ветер шалел все больше. Волна догоняла суденышко, проносила его на себе. Игра эта становилась опасной: оголялся винт, и древний двигатель нервно увеличивал обороты. Дмитрий настороженно прислушивался к выхлопу и вздохам во втором цилиндре. Дотянуть бы...

До берега оставалось не более часа, когда двигатель затрясло, словно в коклюше. Вот тебе – чтоб не было скучно, сглазил-таки... Дмитрий резко перекрыл топливо.

Несмотря на ветер, на баркасе стало так тихо, что бригадир схватился за грудь – там громко шел будильник, его Николаич всегда брал с собой в море. И все услышали это радостное тиканье, радостное и важное, отсутствующее – как воспоминание.

Волна, примеряясь, хлопнула по правому борту около кормы. И, поняв беспомощность суденышка, понесла его в сторону. Заиграла, закружила баркас так, что и не понять было – куда несет...

– Парус, парус ставь... у меня одеяло... и плащ-палатку...

– Рыбу – за борт! Ах, ты черт, рыбу-у...

...Третьи сутки ярится Балтика.

Третьи сутки притихший поселок Пионерский всматривается в набухший свинцовый горизонт. Сначала невернувшийся баркас искали СРТ, теперь квадрат за квадратом ощупывает самолет, а траулеры настроили рации на его волну.

Валюху забрала к себе жена бригадира. Ольга Трофимовна только молча гладила плечо молодой женщины, она не теряла надежды так быстро, ей и на Каспии приходилось ждать, когда они с Николаичем там жили... За двадцать лет сколько слез выплакано, а девчонка – что ж, пусть поплачет, слеза бабья тяжесть с собой уносит...

А рыбаки третьи сутки сопротивлялись Балтике, которая все пыталась их подмять. И знали, что их ищут: иногда слышали самолет. Он пролетал, и становилось страшнее – умирать сызнова не хотелось.

Дмитрий Проходов чувствовал себя виноватым и ломал пальцы в остывшем двигателе. И, выглянув, снова прятался под плащ-палаткой, которой он обтянул движок. Там было страшно темно, и громче била волна. Но хуже было видеть сведенные в кулак лица, обращаемые к нему взгляды – как же, как, ну?! Может быть, они и не винули его, но смотреть на них он не мог.

Они сорвали голоса и уже потеряли силы кричать вновь пролетающему самолету, но все же сипели, словно там их могли услышать. А потом – неожиданно близко и огромно, хотя он вовсе и не был таким большим, – увидели траулер и его черный борт над собой, и людей в зюйдвестках на этом борту. Люди кричали непонятно, не по-русски, но разве это имело какое-то значение – это все равно были люди, датчане или финны или кто там, они были свои – моряки...

... – Ревя, девка, ревя – легче будет. Дитё бы вам завести, да это дело наживное... вот вернутся. Ревя: вернутся, тогда никак солонить нельзя, – успокаивала Ольга Трофимовна женщину.

Резко рванул по комнате сквозняк. Заорал с порога мальчишка, старший сын соседей Санька: «Там траулер подходит, тетя Оля! И баркас на буксире...»

– Вот видишь... – всхлипнула Ольга Трофимовна. – Ждешь их, чертей мокрых...

Траулер уже швартовался.

Рыбаки с баркаса, худые и переодетые в робы да свитера спасателей, кутались на палубе в полушубки. Дмитрий увидел жену.

И не забыть ему вот этих женских опрокинутых глаз, расплавленных обрадованным горем. А бригадир степенно обнимал жену, и Ольга Трофимовна, словно ничего и не случилось, и они только сегодня расставались, что-то бурчала про щетину и пропахлость табачищем.

– Ди-има-а! Уедем, сразу уедем, – шепотом кричала Валюха, а Дмитрий поправлял ей платок и согласно кивал, и улыбался, потому что, когда их везли домой, облазил траулер и в машинном отделении посмотрел на работу, и теперь уж точно перейдет на большое судно, он и с Николаичем договорился – поддержит его уход перед начальством. На новый траулер порекомендует, у него везде друзья...

А будильник тогда бригадир выбросил за борт.

И придется теперь покупать новый.

2

*«...Мозоли, как шевроны.
Шевроны, как мозоли.
По-флотски макароны
Я сдобрил крепкой солью.
Та соль.
Как в парусах сырых,
Во мне еще живет,
Во-первых.
Ну, а во-вторых, —
до свадьбы заживет...»*

(С. Симкин, «Четвертое море»)

...НАКОНЕЦ-то последняя сетка из ста двадцати сбросила на борт три рыбины. Разма- леванный концевой буй взобрался на борт и, описав плавную дугу в воздухе, солидно утвер- дился в кругу собратьев.

– Ша-ба-аш!

На палубе внезапно наступившую тишину закреплял последними ударами молоток бон- даря. Матросы доставали влажные сигареты, с удовольствием вытягивали ноги в сапогах, окле- еных чешуей по самые бедра. Лениво переругивались.

– Рубка-а-а! Воду на палубу-у!

Слышится перезвон телеграфа, затем мерные выхлопы двигателя. Позвонили на обед. В салоне висит пар и сдобные проперченные шутки.

Удерживая горячую миску, осторожно всплывает радист. У каждого к нему дело: он на земле одним ухом стоит.

– Володя, куда идем? Картину махать?

– Тебе бы только киношку... Число сегодня какое? – тридцать первое! К «семьдесят восьмому» за посылкой идем. Новый год встретим что надо: даже елку шлют с базы.

– А почта?

– Эх, и гульнем...

– Слышь, маркони, а далеко до семьдесят восьмого?

Море спокойно. К траулеру, что шел от базы, приблизились вплотную. Взяли посылку – ящик здоровый оказался, почту взяли... Покричали друзьям-знакомым.

Потом отбежали с милю, в дрейф легли.

...Пашка-кок персональную посылку получил. Давно он ходит, новый год и то в третий раз здесь встречается, знает жена, что надо в праздник. И письма – тоже есть. Они и в будни здесь нужны – письма... Повар Пашка отличный, даже шашлык порой преподносит. Честь-честью, на палочке. А в море после работы еда – дело большое, с пустым пузом много не наработаешь. Любят его ребята – понимают заботу.

На Новый год Пашка сюрприз готовит, запирается на камбузе, никого не пускает. Камбузник с важной физиией ходит, салажонок!

Такой уж это праздник – Новый год – семейный праздник: всех он волнует, каждый с чем-то своим к нему приходит, каждый свои года прикидывает, каждому – по своему дорог... И подготовиться хочется получше: хоть и далеко от берега жданного, а от родного обычая отрываться не резон. Вот и роются в вещах: надеть что получше; баньку принять, побриться; письма прежние поперебирать. Радиограмму тоже придумать позаковыристей – чтоб на берегу грусть смягчить, чтоб вроде рядом посидеть.

Что ни говори, а дел много перед праздником. Вот еще посылку разобрать, шуткам поулыбаться, елочку нарядить...

Вечер подошел незаметно. Побегали самостоятельно – рыбу поискали, потом на пеленг разведчиков вышли, всем отрядом в один район вышли, где рыбу засекали. Вот уж и сети выматывали. Через час в Москве новый год. Потом ещё через час – дома – в Калининграде. А здесь, у Ян-Майена, двадцать ноль-ноль. Трижды встречать можно!

Елочку нарядили перед вахтой. Маленькая, искусственная, а все приятно: по-домашнему вроде. Судов вокруг – город огромный. И везде, на каждом судне, сейчас так же: собрались в салоне и ждут.

Ждут.

Розданы радиограммы.

Каждый о своем думает, свое вспоминает.

А ждут вместе. Как и работают.

Кружка перед каждым стоит, а в кружке той – смесь. В посылке: и шампанское, и вино, и водка – понемногу всего. Даже коньяка бутылка. Не делиться же – в чайник все, после разберемся!

Ждут...

В приемнике – как в груди – часы отбивают. Капитан встает.

За что первый тост?

За берег, конечно. И за родных-близких, как по радио говорят. И за землю-родину, что далеко, а поди ж ты – вот она, рядом. И еще многое вмещает этот один молчаливый рыбацкий тост:

– Будем...

Над флотом огни взвиваются, пускают ракеты. Над одним траулерам больше, над другим меньше: от третьего штурмана зависит, какой позапасливее на берегу да не жмотный – целый салют устраивает. Красиво! И радостно. И чуточку грустно...

Только Пашка-кок свой обещанный «сюрприз» внес, как вахтенный заавралил. Буи, кричит, притонули. Это уж столько рыбы в сетях, не доглядишь – весь порядок на дно уйдет. Не хотелось бы Пашку обидеть, а теперь – какой уж здесь «Наполеон»! А старался ведь человек... Праздник праздником, а в море первое дело – работа. А то так напразднуешься, что потом на берегу у кассы людям в глаза стыдно смотреть будет. Кок не первый год ходит, он тоже понимает.

В одиннадцать начали выборку, не стала ждать рыба утра. Дед Мороз одарить захотел, видно. С первых сеток килограммов до двести пошло. Потом за триста перевалило. Шуба такая

через рол тянется, что страшно становится. «Шубой» у нас рыбу в сети называют, когда из-за нее и сетки самой не видно. А сеток еще до ста за бортом.

... Вот и механиков на палубу выперли – мало рук на такую рыбку! Теперь капитан у штурвала стоит, стармех – в машине, да Володя-радист – у себя в рубке. Остальные наверху, на рыбе. Почти по пояс уж в ней, в сельди, стоим, руки занемели, а весело: музыку «маркони» на палубу дал. И добро – трюма завтра забудем!

Сегодня? Времени сколько уже? Четвертый час?! – Не пришлось дважды Новый год встретить. И не беда – «Наполеон» днем съедим с удовольствием полным, Пашу поблагодарим. А деда Мороза вместе с Москвой помянули-встретили, хватит. Вот с подарком его управимся, отдохнем до базы. Там, глядишь, и к берегу...

А дома... на берегу... спят давно...

3

*«...Хороший парень – это не профессия, ты человеком будь!»
(Из разговора на палубе.)*

... Казалось, не задался у нас этот рейс с самого начала.

Уже потому не задался, что какой-то болван запланировал наш отход на пятницу. Конечно, это все предрассудки – какая там разница, в какой день выходить? Только лучше бы на пятницу отход не планировали. Приметы не врут. Портнадзору что – лишь бы скорее вытолкнуть по графику, сам-то он с берега нам помашет. А махать в пятницу ручкой – это тебе не в море выйти!

Ну, положим, и мы не дураки – в пятницу выходить. Вот тебе и предрассудок: в главном двигателе что-то забарахлило как раз в самый этот раз. Не пускается наш главный двигун, хоть механики бьются там, еще и цивильных костюмов сбросить не успевают. Не пускается, хоть мы сверху сочувствие выражаем и последние свои береговые капли отдаем – барахлит двигун и все тут! Заведется он ровно в двадцать четыре ноль-ночь, как только субботе начаться...

Но важнее другое: не задался рейс в самом деле потому, что нашего прежнего капитана сменил в этом рейсе новый. И никто из команды о нем и слухом не слыхивал... А с прежним мы несколько рейсов ходили на этом траулере, который у нас «Мерефой» называется. Добычливо ходили, себе позавидовать можно.

Девушку из маленькой таверны

Полюбил суровый капитан...

Это пел перед отходом бондарь Витька Сысоев на палубе, перебирая струны гитары, играть на которой он не умел, но очень любил. Витька попал дневальным на отходе, и к вечеру его не сменили, потому что он холостой, а механики все равно должны были провожаться до полуночи. Так что никто из провожающих не уходил, а Витька сидел на задраенном и обтянутом брезентом трюме и пел про эту самую девушку «с глазами дикой серны», которую полюбил капитан.

– Вить, а нашего нового как зовут?

Сысоев обычно все знал раньше других в силу певучести своего характера. Но тут даже он сплеховал: «А черт его знает, этого нового кэпа... И вообще, ребята говорили: он всю жизнь старпомом где-то ходил. Наш-то Трофимыч умел ловить! Чует мое сердце, не будет с этим старпомом удачи... черт его фамилию знает...»

– Скребцов моя фамилия. Валентин Степанович Скребцов, – раздалось рядом с нами, и новый капитан выступил из тени от рубки, откуда-то прямо из лебедки, что ли, он выступил.

Так себе был капитан, ничего приметного, кроме формы: все галуны положенные сверкают. А ведь только вчера, небось, назначение получил! Посмотрим, конечно, только не будет из него хорошего рыбака, чего бы иначе он в старпомах так долго сидел?..

– Вы почему, товарищ матрос, поете? Работы на отходе мало? Вот тряпка какая-то на палубе валяется, а вы... поете!

Ну точно, старпом он закоренелый, заавралит он нас, если рыбы не будет. Трофимыч-то таких вояк и близко к судну не подпускал, хоть и драл с нас три шкуры в работе...

– Я не матрос. Я – бондарь! Может, мне сойти прикажите? На берегу попеть? – Витька Сысоев за словом в карман не лазал, и цену себе знал – таких бондарей поискать было на флоте. Молоток у него смычком летал, не то что струны его гитары однотонной.

Новый капитан, Скребцов этот В. С., молча повернулся и ушел в корму. Его что, никто не провожал? Нет, не задался у нас рейс с самого начала, что говорить...

Была середина мая. Погода в это время неустойчивая – весна. А волна на Балтике неприятная – крутая, резкая, все в тебе выворачивает; зато сразу переболеешь, все береговые напасти заодно из тебя выкрутит. А до промысла еще несколько суток, у всех есть время от берега отдохнуть, в ритм войти.

Это ерунда, когда кто-то хлещется: я, мол, такой, для меня, мол, никакой морской болезни не существует! Заливает этот «волк». Потому что нет такого моряка, которого море не бьет – по-разному, конечно. Словно сразу предупреждает: все игрушки-бирюльки на берегу остались, здесь шуточки лучше не шутить!

Одного несколько часов поколотит, потошнит малость или настроение сядет от вялости, на кисло-соленое потянет, как женщину в положении интересном, благо кадка с капустой в начале рейса всегда на виду стоит. Другого на несколько дней и в койку уложит, на палубу потянет рыб покормить. Тоже ничего страшного, себя перевозмочь в какой-то момент надо и сиднем-бездельем не сидеть, пройдет. Третьего так измочалит, что шабаш – наплавался. Не принимает его море, хоть с детства камушки по воде плескал. И пересаживают такого на первый попутный траулер: прощай-морьяк-привет-пешеход...

А море бьет всех: и того, кто десять лет ходит, и кто вчера на палубу ступил, и кто только три недели после рейса на берегу отдохнул – всех предупреждает море, чтобы не задавались шибко. Да у нас команда уже подобранная, без выпендрёжа дело знаем.

Середина мая была, весна. В проливах Зунд, Каттегат, Скагеррак заблудились туманы. И наша «Мерефа» наощупь, под гудки и бой колокола-рынды, медленно пробиралась к Северному морю. Рынды – это, конечно, больше для традиции и красоты, но иногда траулер только бок о бок расходился с каким-нибудь неизвестным судном, так что только медный перезвон напоминал о жизни в этом тумане.

А на выходе в Северное море нас встретило солнце, штиль, хороший прогноз на погоду. И плохой – на рыбу. Но мы-то как раз за рыбой сюда и шли, впереди три с лишком месяца – их работать надо, загорать мы и дома можем. Флагман сообщил, что весь флот недалеко, на границе Северного с Норвежским, большинство в пролове, но лучшего и нигде нет. Здесь, мол, и будем, дальше не ходить, дальше разведчики пока бегают.

Все, что флагман кэпу передавал, мы узнавали от маркони-радииста, он нам все новости доводил. Даром что он капитанский радиист – вместе они пришли, – а парень отличный оказался. «Оказался» – потому что за разочарованием в новом капитане мы не сразу и заметили еще одного новенького. У всех радиистов в море одно имя, это он на берегу Петр, Спиридон, или там Эдик, в море же все они – «Маркони».

«Капитанским» наш новый маркони даже дважды оказался, он сам и рассказал: и ходил с ним, Скребцовым, раньше, когда тот в старпомах был, и родственники они какие-то. Родственников, известно, не выбирают, только ему можно было поверить, что от этого еще больше придирок получается. А отказываться, мол, с ним снова идти – неудобно, вроде посочувствовал,

«хоть один знакомый на новом месте нужен» – так его кэп уговаривал. Да и молва о добрых заработках на «Мерефе» соблазнила. Так, дура, заработки-то те от Трофимыча...

Может, и перебрал маркони насчет лишней к себе требовательности, чтобы мы его сразу не отвели, но парень он отличный оказался, компанейский, веселый. Ленивый, быстро проявилось, но маркони почти все такие, им это прощается, потому что они «одним ухом на земле стоят», а каждому охота радиogramму лишнюю отбить-получить. К тому же, при любой рыбе, при любом аврале не трогают их в работу: одна забота – связь постоянная, руки у него, как у пианиста, всегда здоровые должны быть, без связи в море пропадешь. Зато, когда все на палубе вкальвают, когда уж и спины затекают и руки виснут вдоль тела сами, как включит маркони радио на палубу, да такое что-нибудь забористое – сами руки задвигаются, хоть ты уже трижды по четыре на палубе отпахал. Такая их нужная работа – людей веселить, радовать и между собой связывать...

Так вот, не везло нам с самого начала, хоть маркони компанейский попался, хоть погода баловала, да и работать все хотели. Не везло. Новый капитан букой ходит, в кают-компании, где все обедаем и по вечерам кино крутим, почти не показывается, пока попросил даже еду ему в каюту приносить. А голос его только вахтенные и слышали, когда курс давал, да еще бригадир с рыбмастером, когда он их советовать вызывал. «Советоваться»...

Наш Трофимыч так иногда мог «посоветовать» кому-нибудь – аж уши трещали, сам все знал. А работать заставлял – жилы лопались, он же только поддавал с крыла по первое число да смеялся: «После кассы отдохнете, бубны-козыри!» И в салоне язык почесать не последним был: свойский парень, только ему не перечь лучше, даже когда неправ – спишет к чертовой бабушке, ищи после такого добычливого. Вообще-то, если честно, мы при нем немножко пиратами были, обижались на нас свои моряки: обмечем чужие порядки, нахрапом возьмем рыбу из-под носа товарища, хоть тот и раньше сети вымечет. Наш-то: перекроет косяк – в наших сетях «шубу» рыбную валит, а сосед пустыря хлебает. Умел. И сходило.

Не задался рейс. Все одно к одному. Капитан молчком себе думает, с промысловиками «советуется», флот в пролове. А тут еще эхолот полетел, не пишет ничего, когда рыбу искать надо. Вот и начали бегать за мелкой рыбешкой по пеленгам разведчиков да товарищей по отряду. Сети, считай, вслепую сыпали. Их ведь утром, все одно, что полные, что пустые – вытаскивать надо... И, вроде все чин по чину начинали: когда первые сети выметывали, кок наш Николай испек огромный крендель из лучшей муки и сам к началу “вожака”² привязал – мол, чтобы сразу к Нептуну подарком нашим попал; и деньги все, какие у кого от берега остались, за борт под первую сеть бросили. Даже капитан новый, Скребцов В. С., усмехнувшись чему-то не очень весело, все карманы вывернул в море – мы специально смотрели. Ан, нет – пустырь пришел...

Бухтеть мы потихоньку начали по кубрикам.

Маркони притих, его капитан, видно, насчет эхолота накрутил: тот у себя в рубке заперся, нас без новостей оставил. С эхолотом колдовал, а может, спал – музыка там в рубке жужжала потихоньку, не унывал он. Но через несколько дней ведь починил-таки эхолот!

И мы бегать начали, море винтом взбивать. Несколько суток бегали. То кругами, слышно только, как реверсы меняются – то малый, то средний, то стоп и назад. А то – как зарядим без остановки на самом полном, полсуток летим, только рулевые меняются да анекдоты знакомые обсасываются... Капитан, правда, из рубки даже поесть не выходит. Носимся, забыли, когда и сети сыпали. Нас, конечно, кэп через боцмана красить что-то там заставлял, судно мыть, а чего его мыть – и чешуйки рыбьей не сыщешь, да и не в порт же идем. Ну точно, старпом он закоренелый, этот Скребцов, куда ему с такой фамилией больше. Заавралит он нас водными да пожарными тревогами, хоть засохнет там у эхолота. Заавралит, а без рыбы – кому надо...

² Вожак – канат, по которому крепятся сети на СРТ.

Потом вдруг полночь – ни одного огонька вблизи, ни одного судна другого рядом не слышно – ударил звонок на выметку. Двигатель замолчал – в дрейф легли. Так, дрейфуя, и выметали сети. Да не сто-сто-двадцать, – все равно наутро пустыря тащить, так не пожалел же нас, зараза! – а все сто пятьдесят велел ставить. Хоть смех тот на нашем горбу скажется, но посмеемся над ним – завтра. Сегодня хоть ночного подъема по шлюпочной тревоге не будет – он нам еще, кажется, шлюпочной не устраивал!..

Не рассвело еще, а звонок задергался по кубрикам – ах, чтоб тебе... Чего он там еще придумал?! Одевались медленно, глаз не раскрывая: трещётка нас подняла, а разбудить не сумела. Шторма не ощущалось, как и вчера шла по морю длинная долгая волна – это было дыхание очень далекого шторма, но не сам шторм. Траулер медленно, сонно поднимало на пологий гребень протяжной волны, так же спокойно, будто осторожно, опускало. Неторопливо одеваясь, колебались – надевать ли робы резиновые, зюйдвестки. Или в ватниках достаточно выскочить да в сапоги налегке всунуться: отделаться и назад – в койки.

Только здесь бригадир влетает, очумелым голосом орет – буи, мол, притонули! А буи притонули – выбирать сети срочно, если не хочешь весь порядок потерять: рыба в сетях и не малая, от малой рыбы буи не притонут.

Надо ж, повезло кэпу. Случайно видно ночью косяк нагнало. Тут уж мы глаза продрали, заторопились: и портянки намотали, и робу натянули, и ножи шкерочные похватили – сколько ее ни будь, а резать-потрошить придется, не зима. В первый раз за рейс, неужели пофартило?..

А рыба шла. Сетка туго переваливалась через рол, свободные моряки уже начали ее резать. И погода – как на заказ. И чайки весело горланили над сетями, пророча еще большую рыбу. Чаек мы все любили, они сопровождали нас, куда-то улетаая лишь к вечеру и рано утром появляясь снова в надежде на легкую добычу. Кажется, мы даже узнавали среди них знакомых, во всяком случае, сегодня их суматошные крики сулили удачу, и мы радовались этим крикам, и бросали за борт порезанных сетью селедков, и с удовольствием смотрели, как птицы целой гурьбой падали в воду – сегодня всем хватит!

В таком настроении нам не хватало лишь музыки, но маркони уже догадался и шарил в эфире. Эфирная разноголосица, которую он – случайно ли, нарочно – дал на транслятор, так точно вплелась в возбужденные крики чаек, в шорох спиля, наматывающего вожак, в потрескивание рола и стук ножей на разделочном столе – так точно вплелась в наш ритм та эфирная разноголосица, что хотелось обнять весь этот мир зеленой колышущейся воды и голубого неба, обнять даже нового капитана, Скребцова того Валентина Степановича, пусть он и случайно напал на эту рыбу.

А рыба шла. И лилась музыка. И некогда уже было прикурить. И все, даже «дед», пришли на палубу шкерить рыбу, хохотать старой шутке и давать темп резки. Хотя кто же угонится из Витькой Сысоевым, бондарем, или за нашим «рыбкиным» Петровичем – они могли по сто пятьдесят голов в минуту резать, а потом бежать к своим бочкам, солить, забивать, откатывать. Никто за ними не успеет, а – стремятся, просто так стараются – из лихости и хорошего настроения. «Отец родной» Николай всех чаем обносит, почти в рот куски сует и не хочет на камбуз возвращаться, где ему в одиночестве обед готовить нужно. Даже у кэпа – везло б ему тысячу лет! – там, на крыле рубки, вроде лицо потеплело, или от солнца так кажется? А рыба все шла...

И всю наступившую ночь мы выбирали рыбу, останавливались и резали, и снова выбирали. И не обижались на подвалившую работу, хоть и тяжеленько то веселье доставалось – обедать и ужинать по очереди бегали. Но выбрали-таки все сети.

Забили трюма – семьдесят пять тонн за двое суток, еще и на палубе в брезенте тонны три недошкеренной рыбы оставалось, когда кэп через бригадира всех спать погнал. И то – большинство так не раздеваясь и упали... А траулер уже курс на базу взял. И кого там капитан покрепче нашел, чтобы у штурвала стоять?

Когда проснулись, к нам в кубрик маркони завернул. Новость удивительную принес, даже старик Петрович, рыбмастер, пришел послушать: капитан-то новый пеленг пашей рыбалки на весь флот передал, туда сейчас все суда бегут. Наш прежний кэп Трофимыч уж такое не отмо-чил бы – втихую сдал рыбу, да назад. Там второй груз, наверняка, взять можно... Н-да... С какого-такого богатства капитан уловом нашим разбрасывается?

– А что, – пожевал папиросу Петрович. – Может, его сермяжная правда здесь есть. Весь ведь флот в прогаре... не куркуль...

Витька же Сысоев выгнал нас на палубу: терзать свою гитару принялся многозначительно – «повезло, мол...»

Такой рыбы у нас в этом рейсе больше не было. Но и пустыря тоже не таскали, три-пять тонн почти постоянно брали. И не надрывались, и без работы не сидели. Теперь уж на подвахту только желающие приходили, но кто же откажется рыбу пошкерить в компании, когда на палубе солнце, когда чайки горланят, когда через музыку байка проскальзывает, когда – настроение, кто же откажется?

И вот этот день.

День, в общем, как другие. Только усталости чуть больше, чуть желаннее отдых – груз снова добирали, к походу на базу дело шло.

Резали не торопясь, музыка плыла медленная, чайки примелькались, к солнцу приленились – по пояс голые трудимся, июнь начался... Правда, маркони передал, что шторма ждут в нашем районе, но сейчас не страшно и несколько деньков шторма – отдохнем чуть от рыбы, да пока к базе сходим, утихнет. Летние штормы они недолгие. И вот этот день. Резали потихоньку, музыку маркони поймал медленную, чайки за рыбой у борта падали на воду неторопливо.

– Гля-ань-ка!.. – пропел Витька Сысоев.

Глянули: маркони с улыбкой на палубу вышел, что-то в руках держит.

– Эксперимент! – говорит.

И подбрасывает в воздух чайку, как он ее поймал только? Но чайка та уже не белая, и синевой снежной под солнцем и небом не отдает. Пестрая какая-то чайка, вся в красных, черных, зеленых до ядовитости пятнах и полосах, где он только краски добыл?

– Во-он зачем ему краски понадобились... «По-нем-ножку-у...», – протянул боцман.

А чайка, что маркони выпустил, – ее уж не потеряешь из виду, – испуганно пролетела в сторону, почти скрылась. Но тут же и назад вернулась. Туда, где ее сородичи над рыбой переругивались. Тоже – за рыбой, или просто к своим, кто ее узнает.

Только теперь не была она «своя»: сперва одна-другая, потом многие, а там уже и вся стая набросилась на пеструю чайку. Гомон недобрый, невеселый хрип они подняли, громкий и противный визг над траулером завихрился вместе с клубками птиц. И каждая стремится ударить разрисованную нашим маркони чайку. Только потому, что белых чаек было много, и они мешали друг другу, «эксперимент» не кончился сразу.

А она – пестрая птица-чайка – явно не понимала причины общей вспыхнувшей ненависти. Она металась от одной товарки к другой, может быть, среди них была и вовсе близкая, чайка металась, словно крича: «Да это же я!.. я! Почему вы не узнаете меня... За что?..» Или что там она еще кричала... кто узнает, но «эксперимент» кончился, и пестрокрылая чайка пропала.

Маркони улыбался, повеселил он нас славно.

Плыла медленная музыка, мелькали деловито белые чайки, сверкало солнце на рыбьей чешуе, сверкало повсюду.

– Мда-а... – протянул Петрович, рыбмастер.

– Во-он зачем краска, – шевелил губами боцман.

– Да-а, экс-пери-мент, – тихо и по складам выговорил Витька Сысоев, который ближе всех стоял к маркони и потому первым ударил весельчака.

Слабо ударил, тот не упал, только отлетел к лебедке и, схватившись за скулу, непонимающе уставился на нас. Мы отвернулись – надо было работать дальше.

Маркони ушел к себе. И щелчком прервалась музыка.

– Пойди к капитану, – сказал мне рыбмастер, распрямляясь над бочкой, которую он только что откатил, – Пойди к капитану, будь они хоть десять раз родственники. Пусть эта гнида идет на палубу и занимается делом. И пусть капитан отправляет его первой оказией. А то, не приведи боже, конечно, его с крыла первой волной смыть может... Так мы думаем, – Петрович обвел всех взглядом, он был самый старший на палубе, и он дольше всех ходил в море.

Я и сказал все это Скребцову Валентину Степанычу. Кроме волны, конечно, всё сказал. «Работайте...», – ответил он. Еще сказал, чтобы Петрович к нему зашел: «...Сысоев пока поработает за рыбмастера».

Говорить с маркони мне было трудно: он не понимал. Но в волну, судя по лицу, поверил. И на палубу вышел, и шкерочный нож взял, который ему бондарь бросил.

Нигде маркони не трогают в работу на палубе, его забота – связь постоянная, у них на судне своя работа нужная – людей радовать и меж собой соединять.

У этого кончилась такая работа. Взял он нож шкерочный, резать рыбу начал под тишину нашу. Но недолго резал – швырнул нож почти к ногам моим, убежал, зубами заскрипев.

А Петрович как раз от кэпа вернулся.

– Нормальный он человек, – сказал рыбмастер. – Поработаем еще. При мне дал радиogramму на базу о замене нашего... экспериментщика. Стучит сейчас свою отходную. Не повезло кэпу, конечно... подолгу мы на берегу не бываем, что ж поделывать, судьба. Сына вот и упустил... мм-да-а... рейс. А туда же – «седьмая вода»...

Лежит теперь тот шкерочный нож у меня в столе, хоть и траулера нашего и в помине уж нет. Не очень и видный нож, весь потемнелый, источенный частой правкой.

И кажется, стоит его лизнуть, и теперь, наверное, ощутишь горечь соли.

4

*«Ты только не злись на меня, но...
я устала. Так жить очень тяжело,
Устала! Я уезжаю от твоего моря,
Я больше не могу...»*

(Из письма в море)

Море было спокойно. Насколько может быть спокойна Северная Атлантика в феврале. И шла рыба. У всех ныли руки и спины. В те несколько часов, что выпадали свободными в сутках, матросы спали крепко и без сновидений. А утром снова серебристый поток заливал палубу логгера, подвахта сменяла друга друга; только палубная команда – наскоро поев и выкурив по мятой, влажной то ли от воды, то ли от пота, сигарете – продолжала раскачиваться в такт судну, упираясь расставленными ногами в палубу; продолжала наваливать новые потоки сельди, катать бочки, майнать их в трюм. Была усталость. Но это усталость удовлетворенная, умиротворенная результатом, усталость от хорошей работы, ведь и шли за ней, за рыбой: рыба – план, заработок, гордость и подарки, отдых на берегу «на всю катушку»...

Шла рыба. Большая рыба.

Святослав, конечно, тоже радовался улову. Он обещал Марии с дочкой взять отпуск и слетать куда-нибудь на юг, заехать к ее родителям, которые не видели еще маленькой Наташки. Бросить море он не мог, как настаивала жена, – что он, боцман, будет делать на берегу? Море давало ему уверенность, да и привык он за эти пять лет. И к хорошим заработкам привык, и к

тоске, которую давали рейсы: на берегу он ждал моря, в море – вспоминал берег. Разве может быть жизнь полнее этого...

Порыв ветра ударил холодной солью и согнал улыбку с губ боцмана. Святослав только сейчас по-настоящему почувствовал, что прошло уже три с лишним месяца рейса, что тоска нет-нет да перехватывает глухо дыхание. Почти месяц впереди, а писем нет. Нет и нет. До сих пор его удовлетворяли редкие радиogramмы с трафаретным текстом пожелания удачи. Что ж, суеты на берегу много. Но письма, письма – их не пришло ни одного; в море так не бывает, не должно быть...

Траулер спешил к плавбазе, солидно переваливаясь с волны на волну. Еще бы: трюмы полны рыбой, и траулер знает цену своей работе. Палуба, сверкающая стекающими потоками встречной волны. Люди, переполненные ожиданием вестей с берега, почты на базе. Траулер торопился во все свои четыреста лошадиных сил главного двигателя...

Вот она – база. Громоздится среди маленьких тральцов, медленно, почти незаметно, покачиваются ее борта; с логгера надо далеко запрокинуть голову, чтобы увидеть людей на палубе этого плавучего центра флота.

Да черт с ней, с очередью на сдачу рыбы! Рыба-то подождет, нашу почту отдайте! – Одним касанием судно тычется в борт громадины-матки, словно целует ее после разлуки, а сверху летит пакет с почтой, разорвать который тянутся десятки рук.

Боцман в стороне прикуривает новую сигарету от окурка, хотя это его обязанность и привилегия – ловить пакет. Кому хочется поймать на себе сожалеющий взгляд соседа, которому неловко станет перед ним за радостную пачку писем, любое из которых и даже несколько уступил бы опять ничего не получившему боцману... Это ж представить только, никто бы не выдержал такого, за что!..

Святослав стискивает зубы, чтобы жалость к себе не хлынула в него, это еще хуже сочувственных взглядов – жалость к себе, ест она тебя живьем, руки тебе опускает... Он курит в стороне от разрываемого пакета и лишь по окостеневшему лицу, перечеркнутому отросшими за рейс усами, да по его явному намерению уйти прочь с палубы – можно понять, как он ждет, ждет, ждет...

– Усы! Пляши, боцман!

Святослав аккуратно сплевывает недокурок и неторопливо берет протянутый конверт. Осторожно ступая, словно боясь расплескать радость, уже расслабившую лицо, несет конверт в каюту.

Там, наедине, распечатывает. Знакомый почерк!... И незнакомые, сухо-официальные слова. «Встретила... Прости... Ждать так трудно... Наташка здорова... Не ищи и не огорчайся. Ты так долго был в море...»

Перед глазами поплыло, вдруг выплыла елка, нарядная елка – конечно, и этот год она встречала одна... Да, боцман, другой нет у тебя специальности. Елка загорается такими яркими огнями. Гарь... гарь сожженной его деревни, а мать копает землянку для пятерых, и все мал-мала меньше... Протопанная семилетняя тропинка в школу, что в соседнем, за шесть километров, селе. А потом – топор и запах свежеструганных бревен, и работать, кормить... А море дало уверенность, да и средства, что говорить. И она, Мария, радовалась тогда его возвращению и его рассказам, и они вдвоем – только вдвоем, это чуть позже можно встретиться с друзьями, только вдвоем, – выпивали приготовленное ею вино, съедали все вкусные салаты, что любила она готовить, совсем рано укладывались спать, и ему было приятно, что кровать не раскачивается, и еще пока не хватало этой постоянной качки...

«Ну, конечно, и опять елка без меня. Но ведь возвращался, я всегда же возвращался – домой, к ней. А она тоже живой человек. Образование... ерунда, вон уже библиотека какая... Да... ведь много людей ходит в море, штурмана, механики... не могут без рейсов, не в одних

деньгах... и ждут же их. Не у всех же... Да ведь предупреждала, что не может так долго, сам...» – Он снова посмотрел на письмо со знакомым почерком. «А вот у тебя – так!»

– Стас, тебя старпом зовет.

– Да-да, иду...

А теперь – как? Стихи писал, втихомолку... плохие, ей. Кто в море не пишет стихов? Цветы после рейса в любое время года... Кто из моряков не приносит цветы? Но ведь квартиры не было все равно, а море... что ж, оно – море. А – дочь, Наташка?

– ...Боцман, слышь, што ли. Ну и дыму здесь, ты не к котлу подключился? Заболел? Там старпом зовёт, на якорь становиться будем, – матрос покачал головой и полез по трапу.

– Хватит!

– Чего?.. – свесился моряк.

– Я говорю – работать надо, идем... – Святослав натянул куртку и поднялся следом.

...А дни за днями разменивали месяц. Медленные дни. Длинный месяц. А в месяце – тридцать ночей, и тридцать раз наступает утро, и сны уходят...

Рассвет – как враг.
Торопится рассвет.
...Бледнея, пропадет плечо:
Ты рядом, но тебя и рядом нет.
Лицо угасло. Времени подсчет
Здесь бесполезен – вековой,
минутный...
Как ни старайся, все перечеркнёт:
Лицо угасло. Наступило утро.

Святослав смял листок, бросил, взял чемодан. «Плохие стихи... Кто в море не пишет стихов? Кто из моряков не приносит цветов... в любое время года?» В городе пахло осенью и треснувшими арбузами, хотя была весна. Траулер слегка чиркнул изржавленным бортом о причал, потерял немного и протянул сходни к берегу, словно сливаясь с ним в рукопожатии, словно примиряя море с берегом. «Ловко швартовал, кэп...» – машинально подумал боцман и ступил на сходни.

– Так ты самолетом, Стас? – капитан перегнулся через крыло рубки и сочувственно посмотрел вслед неловко еще ступающему по земле боцману, который сбрил усы, но не снял этим ни усталости, ни заботы.

– Привыкай по земле ходить – не качается, а?! – попробовал пошутить капитан. – Бывай, Стас...

В городе пахло осенью и треснувшими арбузами – от тающего снега. Но была весна.

5

*Словно камень
Скатился
С высокой горы
Так упал я
В сегодняшний день.*

(Исикава Такубоку)

...Гданьск или Гдыня... ну, конечно же, – Гданьск... Оттуда и началась его история, что на весь флот прогремела... сперва удивленным слухом, никто ж не знал причины, да и не поверил бы... хотя нет – моряки-то приняли. Потом, возможно, анекдотом обернулась, да ему уже все равно было.

Две тогда истории ходили по городу, а город – флот, рыбаки. Вторая – с королевским замком, Кирилл и сейчас видит округлые стены развалин... глухую толщу ста рых стен семиугольной башни. Со стен замка, укрепленных ребрами контрфорсов, просматривался весь город.

Он лазал там еще на службе, матросом, там пил с другом «Бенедиктин», название которого почему-то казалось даже по звуку подходящим именно к этим местам. И ел шоколад – в первое свое увольнение, того времени сейчас и представить невозможно...

Он смутными глазами взглянул на окно. За стеклами падал серый снег, порывы ветра внезапно заставляли снежинки уноситься в сторону, поднимали от земли новые, закручивали их в столбы.

Да, память... чего вдруг припомнилась та давнишняя история... пять... смотри-ка, пять лет уже прошло! Чего ради вспомнилась та история... да, в Гданьске, где их траулер стоял на ремонте; так бесшабашно и даже... а что? – и красиво начавшейся. Эффектно, моряки искони любят эффект.

Они еще в мореходке с практики подъезжали к училищу от Московского вокзала каждый курсант – на трех такси... и традиция диктовала, и собственное мальчишеское ухарство, да и от голодного военного детства это было, наверное, освобождением, от всей той сдержанности хлебных очередей. А здесь – хозяин сразу трех машин: в первой через Кировский, потом Каменноостровский мосты на тихие аллеи Каменного острова вылетала рядом с таксистом – мичманка. Это ее вначале встречал долговязый Алексей Алексеич, начальник училища, их «кап-раз», капитан первого ранга, встречал, тая улыбку и грозя костистым кулаком второй машине.

Потому что вторая везла самого, ух как просоленного, «маремана» (теперь второкурсника!) «с морей». А уже в третьем такси следовал его чемодан с робой, до белизны вымытой морской модой, и с гюйсом-воротником, обесцвеченным каустиком до блеклой голубизны северного неба. За этот гюйс еще предстояло получить от того же Алексей Алексеича пять нарядов вне очереди...

Позже, уже всерьез работая по несколько месяцев в Атлантике, они могли прямо с рейса, получив на борту аванс, слетать постричься-побриться в Москву, чтобы непременно вечерним рейсом и вернуться. Или пообедать – там же, просто и скромно пообедать без спиртного в хорошем ресторане, завершив компотом, и обязательно привезти счет, где тот компот значился.

Но нет, все не то, мимо, мимо... Не одно ухарство двигало им тогда в Гданьске на ремонте после четырехмесячного рейса, не мальчик ведь уже был. Тридцать два года исполнилось тогда главному механику среднего рыболовного траулера с финским названием «Кола», и «Дедом»³ Кирилла называли на судне еще и любовно.

Нет, позже он ни разу не пожалел о своем поступке, наверное, повторил бы его снова, не будь теперешнего ощущения тщеты вообще всего, кроме самой жизни. Но тогда ведь тоже была – его жизнь, это определяет ведь человека, да – свой поступок, свой прорыв на другую ступень мудрости через бытийное благоразумие и... да, и через страх.

Это могло показаться странным, но именно в те тридцать два ему ударило в голову, что не может он без Марины. И страх утратить ее, копившийся четыре месяца рейса, повел его вместе с любовью. Такого еще не было, и потому он молчал, хотя на судне обычно не бывает секретов.

Была весна. Северное море дышало теплыми туманами, а в Гданьске лопались на деревьях почки и плыл клейкий запах первых листьев. Он совсем немного гульнул со своими механ-

³ «Дед» – на флоте так называют старшего механика.

цами, ровно столько, чтобы одурманил этот запах листовяного настоя и смешавшегося с ним терпкого духа водорослей, который принес с собой туман.

Он набрал полную сумку всякой всячины «Выборовой» и сел в такси, а ребята понимающе помахали руками – видно, и в этом чужом городе есть куда ехать их молодому Деду!..

Возможно, они остановили бы, но он никогда о том не пожалел.

Надо, надо... надо вот сейчас... иначе он задохнется в этом воздухе, иначе всю жизнь будет преследовать его эта неосуществлённость... как преследует тот безответный пинок здорovenного воспитателя Ивана Альбертовича в детдоме... было Кире пять лет и ему удалось дотянуться и даже сделать глоток из банки с молоком, почему-то оказавшейся... просто вот так и стоящей на столе в их комнате. Эта банка потом стала зачем-то часто попадаться ему, остриженному наголо из-за насекомых еще в эвакуационном пункте мальчишке с нелепо торчащими ушами. Он даже помнит щербину на кромке той банки и сладость единственного глотка молока, после которого получал здорovenный пинок... и надо было еще убирать это молоко на полу. Все становилось каким-то наваждением, потому что не мог он удержаться от того глотка, хоть и всегда его заранее тошнило от страха перед неминуемым пинком Ивана Альбертовича, неведомо откуда подстерегающего Киру. Мать нашла его в детдоме через год, но он долго еще сжимался в комочек, поднося к губам стакан с молоком...

Какими словами убедил он гданьского водителя везти его к границе Ольштына, отдал ли он какие-то деньги? Это не имело значения никогда: значит, бывают такие слова и такое полетное состояние, что способны завихрить собою и чужого тебе человека; а может, позволяют и тому человеку вернуться к своему чему-то или обрести что-то свое, несбывшееся, расправить крылья своему... тому – запуганному и неосуществленному. За один такой полет надо любить любовь, и можно благодарить рождение твое за безоглядность ее крыльев...

Они почти досветла говорили за любовь с хорунжим-пограничником, к которому привез его Войтек и который оказался каким-то родичем водителя. Перед рассветом польский побратим в старательно застегнутом кителе поставил Кирилла на чуть приметную тропу среди высокой мокрой травы. Поставил с цветочным горшком в руках, а в горшке цвела бело-желтая чайная роза – ее передавал хорунжий «паненке Марине» вместе с поклоном... Да, и «братовым поцелуем» – хорунжий крутанул ус и туманно улыбнулся чему-то своему.

Без приключений добрался Кирилл до Багратионовска и сел в первый рейсовый автобус. Ранние пассажиры тоже улыбались, глядя на цветок.

Но Марины дома не было. И в городе: «Она же в отпуск уехала, разве не писала тебе? Путевка горела», – удивилась ее мать. «Вы ведь не предупредили ее... – добавила мать обиженно, увидев его лицо и поспешно принимая горшок с чайной розой. – Да и... знаете, молодая она для вас, не обижайтесь уж. У нее...»

– Как это вы оказались здесь? – спросили механика в рыбпорту.

У него не было тех слов, как не было и тех крыльев, чтобы вернуться на судно. «Приехал домой... по своей земле. Заболел...» – бормотал он, не умея солгать и сам не зная правды. Но тут вернулся в порт его траулер, и вмешался капитан, как-то сумев притушить скандал приказом о списании механика на берег. «Поработай в техотделе, там люди позарез нужны, ничего, – говорил капитан ему. – Думать надо бы... Через рейс-другой заберу, назад придешь. Да хоть и вторым поначалу...». Он был согласен с капитаном.

И на субботник он пошел вместе с портовиками, потому что как раз рухнула семиугольная башня, и остатки «Палаты московитов», названной так еще по первому посольству русичей Василия III. Стены подсекали тросами, натягиваемыми мощными тракторами и танками, которые были впряжены сразу несколько, словно кони-тяжеловозы. Замок начальством города было решено снести. И на субботниках горожане вместе с солдатами разбирали разбитые стены тринадцатого века.

Город был, в общем-то, небольшой, пусть и областной, так что ничего странного не оказалось, когда провинившегося механика столкнула судьба с Борисом, а художник уже ввел его в круг ровесников, для которых замок стал не только ценностью исторической, но и способом утверждения истин, вынесенных из детства и школы. В их детстве рушилось слишком многое, на глазах рушилось. И теперь они ощутили свое право сохранять и себя противопоставить разрушению.

Из развалин древнего замка у художников, архитекторов и журналистов выросла идея «Музея мира», способного своими порушенными стенами и башнями напомнить – что же несет война. И молодые люди со всем азартом и неоглядностью бросились отстаивать этот проект, уже премированный на конкурсе. Отстаивать перед теми, кто вначале проект не понял по невежеству, а потом не решился отменить приказ о сносе – чтобы не признаться в том невежестве.

История замка вобрала столетия города и труда, и опыта, и знания нескольких народов, живущих на этих землях рядом: Коперник и Кант, первая книга на литовском языке и отец Суворова, бывший здесь комендантом. И те солдаты последней войны, совсем недавно в последний раз штурмовавшие эти стены... Память. Она увлекла моряка – его отец тоже погиб где-то здесь. И отвлекла было его.

Потому что Марина вернулась, а мать ее убедила в «несамостоятельности» этого моряка – «все, мол, они такие, пьют ведь небось! И ждать не дождешься с этого их моря, что за семья...» Все случилось так обычно и просто, но ему-то казалось, что эту пустоту в душе ничто не заполнит, а он устал от мужского своего одиночества в общежитии. Его матери уже не было к той поре на свете. И девушка ушла: «Я замуж выхожу... ты не сердись.» Не сердись... и в самом деле – на что же сердиться-то?

Да-а, и вправду: пришла беда, открывай ворота. Его траулер был еще в море, а он составлял обычные ремонтные ведомости, когда вызвали Кирилла в управление. И не просто – аж к самому начальнику управления. Да так, что даже и ждать в приемной не пришлось. Секретарша, будто напуганная его фамилией, заскочила в кабинет и тут же открыла перед ним дверь.

Грузный, но как-то по-военному подтянутый Главный, которого он и видел-то за все время раза два в президиуме, вышел из-за стола ему навстречу. Механик растерялся сразу: лицо Главного... да как же его зовут-то... нет, не вспомнить, у секретарши бы... лицо начальника было расстроено и бледно, а это, наверное, хуже, чем если бы оно угрожало или злилось. Хуже, хуже...

– Ну и натворил же ты, братец... – управляющий заглянул в листок, что держал в руке. – Бегунов! Как же ты здесь оказался, когда судно твое в Гданьском стояло? И капитан твой... хор-рош, подлец... думали – все шито-крыто, отсидишься? Для этого сперва свою команду получше надо знать... а тебе – друзей-товарищей. Что за моряки пошли – анонимщики, тьфу!.. Пацан, ах пацан – и ведь не понимаешь, да?! Письмо о твоём «десанте» написали... кто-то, чтоб его! И не строй целочку, я все знаю – даже, что невеста, к кому летел, отставку дала. Что-о?..

Он не знал, что говорить тогда, у него просто холодно было внутри, и вина перед своим кэпом давила больше всего... и перед ним, вот этим простецким пожилым мужиком, который не кажется сейчас начальником, хотя, наверное, может и под суд отдать. Он поежился.

– Ладно... Р-ромео, все знаю. А замок тебе на кой черт сдался? Что там за подписи ты собирал? Что тебе-то в тех развалинах? Ты же механик, трудяга! – какое тебе дело до их интеллигентских выкрутасов, этих твоих художников-картежников? Что?! – лицо Главного побагровело.

– История...

– Тебе, братец, своей истории не расхлебать всю жизнь, а ты о мировой печешься. Есть кому о ней думать.

И дорога в море ему закрылась навсегда. Как-то так произошло, что и в техотделе ему предложили уйти.

– Куда? – спросил он.

– И в порт не ходи... – отвел глаза его шеф.

Пить в том городе было легко, он надевал мундир с шевронами и прямел спиной, не касаясь стены в шумной пивной возле площади, откуда были видны работы на развалинах. В пивной всегда толкались моряки, его узнавали и не очень расспрашивали о жизни, ему сочувствовали, как любому списанному на берег надолго, и наливали широко. Опускаться оказалось легко и приятно, ему нравилось жалеть себя... А вернувшиеся из рейса ребята с его траулера собрали однажды денег и засунули насильно пачку в карман. «Кто же из вас? – терзал он себя. – Кто писал-то?..» Он вглядывался в каждого, но спрашивать не решился, ему сначала было противно само укоренившееся подозрение, а после стало все равно. О капитане он тоже не спрашивал.

Когда стало вовсе не вмоготу, он продал форму и уехал. Шоферил в геологической партии, да тоже... О море пытался забыть, пытался как угодно затуманить память свою, а вот поди ж ты, помнится. И вот здесь теперь, что он ищет, потеряв самого себя?

Прошлую зиму он удачно пережил, чего там...

Приятель устраивался работать сторожем высоко в горах, куда добирались только спортсмены да метеорологи, и взял его с собой. Приятель тот скоро исчез, а он прижился здесь на всю зиму в тепле и сыте, и в тишине. Тишина, правда, отступала в выходные дни, когда поднимались щеголеватые парни-туристы с рюкзаками, магнитофонами, лыжами. И с девушками, веселыми, длинноногими, беспечными. Детей с ними никогда не было, и Кириллу почему-то казалось, что дети были бы неуместны рядом с этими легкими, озабоченными весельем и здоровьем, молодыми людьми.

Остальное время он помогал дежурному метеорологу разгрести снег и допивать оставленное вино. Или спирт, который выдавался вахтенному технику на какие-то технические нужды. Приборка в двух домиках турбазы много времени не занимала, а грабители, от которых он должен был охранять заносимые метелями домики, откуда здесь возьмутся?

Теперь, впрочем, вторую неделю стояла непогода, зима заканчивалась даже здесь в горах. А это самое неприятное время: то заколбродит нежданный ветер, то солнце припечет и где-то ухнет лавина, то низкие облака начинают сыпать жесткую снеговую крупу, а потом мороз заставляет сжиматься камни. И снова ветер.

Но зато это и самые спокойные дни, безлюдные.

Молчали заснеженные, пересеченные темными складками, горы. Маленькое окошко в его небольшой комнатке-сторожке зависало над обрывающимся вниз валунным скатом. И верхушки хребтов словно волны набегали на окошко прямо из серого низкого неба.

Ветер бесновался и стонал в каждой морщине каменных волн, он вбивал снег в эти морщины, спрессовывая его в длинные белые языки – будто старался и снег превратить в камень. Лишь камень и мог сопротивляться этому времени, их спор продолжается столько, сколько он, сидящий в тепле за окошком, и вообразить себе не может. И все же то время дает человеку ощутить себя: медленное, равнодушно-бесконечное время, неподвластное мысли и потому даже не пугающее человека. Его не пугает этот движущийся, свистящий, хохочущий воздух, что уносит его дыхание, как уносит и невидимые частицы камня, скругляя края трещин и изломов, и сами бока хребтов сглаживая, и недвижные волны их каменных всплесков.

«Пять лет, – подумал Кирилл. – Вон куда занесло, а все с морем сравниваешь...»

Он поежился, прогоняя безжизненные мысли, когда вдруг дошли до него резкие, чуть сипловатые крики двух черных птиц. То есть, вначале он чуть распознал их крик, вмешавшийся в посвист ветра, а после уж увидел их самих – двух черных альпийских галок с острыми

клювами. Галки косо летели навстречу ветру, низко поперек белого склона горы летели. «Как печатные, – отметил он. – Черные на белом... Летят ведь».

У самого окна на обрыве, все так же перекликаясь, хоть и были совсем рядом, птицы сели. Чуть потоптались на месте, встряхнулись и пошли к его домику, высоко поднимая лапы и по-прежнему подбадривая один другого своими вскриками.

Он прильнул к самому окну, словно стараясь удержать их взглядом, но птицы исчезли. Вскоре он услышал позванивание щеколды, хлопанье крыльев и постукивание в дверь крепких клювов. «А... на гнездо уже собирают» – догадался он. Так и было: птицы в два клюва настойчиво выдирали ворсинки из войлочной обивки.

Кирилл оторвался от окошка, тихонько подошел к двери и осторожно приоткрыл: птицы неохотно взмахнули крыльями и сразу сели на перила крыльца. Ветер колюче ударил в приотворенную щель, выбивая слезу. Галки словно понимали, что он не хотел их пугать. В клюве каждой виднелось по клочку надерганной шерсти, напоминающей паклю, и птицы поглядывали на него круглыми черными глазами, будто отсылая его назад в комнату. «Пигхи, пиуги... У каждого свое дело, – казалось, говорили они. Изжелта-розовые клювы не открывались, горловой звук напоминал бормотанье. – Пыхть-пиуги... Что особенного?..»

Дул ветер. Морщились стекающие вниз серо-белыми складками горы. Все так же смурнело низкое небо, тяжелые клочья облаков оседали на вершинах хребта, суля новый снегопад. Но все же в жёстком дуновении ветра проскальзывала, вздохом ли, чутошной одышкой, но проскальзывала струя помягче – близилась весна. И клювы этих птиц, с ворсинками войлока, тоже сулили весну и новую жизнь в гнезде.

Он уже закрывал дверь, когда раздался недалний хлопок и одна из птиц забила крыльями, ваясь с перил на снег. Крик второй птицы, косо поднявшейся на крыло, отозвался у человека в груди.

Раненная галка попыталась подняться и боком съехала с косого сугроба. Она еще не выпустила из клюва своего пучка шерсти, глаза ее с недоуменным и больным вопросом остановились на Кирилле, а он широко открыл дверь, удерживая рывки ветра. Он не мог оторваться от этих глаз, которые становились всё безразличнее, уже сливаясь со снеговой фиолетовой тенью, и скоро потухли. «Ну вот и все... – мелькнуло в голове. И вернулся мыслями к выстрелу: – Осатанел от скуки. Так вот...» А вечером пил с метеорологом остатки спирта, и в углу жилья молодого техника притулилась та мелкашка, а на тумбочке вместе с какими-то схемами и расчетами лежала рисованная мишень со множеством удачно пробитых дырок.

Бывший механик охотно пил разведенный спирт и думал, что больше не сможет смотреть в свое окно, видеть насупленные хребты, слушать ветер; еще думал, что не сможет видеть ни галок, которые прилетают сюда за паклей для гнезд, ни метких метеорологов. Жизнь обрывает жизнь... «И ведь со скуки... так вот», – эта бессмыслица в который раз вошла в него, дальше надо было снова гасить постоянный вопрос. Он уйдет отсюда, хоть и перезимовал здесь, и поесть-выпить здесь всегда находилось. «Уйти... не надо мне», – других мыслей не было. И вдруг вспомнилось: «своей истории не расхлебать, а ты о мировой печешься, есть кому о ней думать.» Так кому же? – Ночью он исправно допил свою рюмку и пожелал остроглазому технику спокойных сновидений.

А ранним утром он уже был в городе у пивного ларька. Здесь, в городе, стояла почти жара, деревья зеленели, розовели последние цветы урюка и снежно белели черешни. И его узнавали у пивного ларька, а позже у гастронома: «Здорово, Дед!».

...Каким это образом прозвище тянулось за ним через всю страну, хотя давно утратило свой изначальный смысл? Он и сам уже редко вспоминал, или старался не помнить, что было время, когда так называли его уважительно, что тогда – там, в море, пять лет назад – у него даже было право так величаться. «Дед, стармех, старший механик...» – ухмыльнулся он, а перед

глазами косо летели навстречу ветру, летели низко поперек белого склона горы две черные альпийские галки. «Как печатные... а чайки белые... также вот летят ведь».

Кирилл оглянулся, увидел того, кто окликнул его «дедом». Увидел неизменный замызганный плащ-маломерку, из-под коротких обтрепанных рукавов которого высывались подвернутые рукава заношенного свитера. Взглянул на себя словно со стороны, отчужденно. И он ничем не отличается. «Вот тебе и Дед!..» Ближайшее, Каспийское, море плескалось отсюда где-то за три тысячи верст, а его все еще окликали «дедом» даже полужнакомые случайные люди. Да других у него и не было последние годы, других он ведь и сам не хотел и не искал, проваливаясь все дальше в этот омут.

Что делает он здесь, у пивного ларька этого южного сытого города? Все эти пять лет – куда они, что помнится? «Вот как, только эти галки и остались... – усмехнулся он криво. – Хватит!».

Кирилл вдруг выплеснул на землю из стакана, осторожно поставил стакан на ящик рядом. И пошел, не оглядываясь. «Тронулся! – услышал за спиной. – Ты куда это, Дед?».

Вскоре Кирилл был уже на почте. Телеграмма получалась длинная и несуразная, да и где бы он взял деньги на такую телеграмму? Он сел писать письмо своему бывшему капитану. «Вот так, – мелькали мысли. – Хоть рядом с морем...».

И над тем морем будут летать белые чайки. Навстречу ветру.

6

– Мама, а чудеса Дед Мороз делает?

– Делает, сын. Спи...

– А он, всегда один приходит? Почему он один?

– Не всегда, с ним Снегурочка бывает. Спи же...

Сейчас уже было ясно, что никуда не попасть.

Еще недавно оживленная улица опустела в момент. Перемешанный торопливыми ногами липкий снег медленно расплывался по тротуару, откуда-то слышалась музыка и невидимый смех, которые делали улицу еще пустынее.

Они стояли рядом под козырьком киоска, за стеклами которого молчали журналы. Одна из газет смущенно поздравляла их с Новым годом. С наступающим Новым годом – до него оставалось совсем немного, а их нигде и никто не ждал.

Чем-то неуловимым они были похожи – эти юноша и девушка у газетного киоска на пустынной улице. Может быть, от общей растерянности, или – от желания успокоить один другого. Или от лимонного света фонаря, в котором все расплывалось, становилось мягким и невесомым. Но они были в самом деле чем-то похожи, чуть ли привздернутыми носами, обиженно ли приспущенными уголками детских губ. Их и звали-то одинаково: только его всегда называли Валюшей, а ее – тоже всегда – Валькой.

До двенадцати оставалось пятнадцать минут.

Через пятнадцать минут положено истомившимся над закусками гостям встать и взволновать себя и друзей своих нестройными тостами. И – рюмочным звоном. И вспомнить что-то уютное, может быть – запах маминой руки, подкладывающей дед-морозов подарок. Или – одинокую ракету, запущенную остервеневшим от разлуки штурманом в очередную волну. Многое далекое или желанное – и потому особо волнующее – вспоминается в эти двенадцать часов...

– ...Ну и не надо: мы вот здесь встретим! Кто так еще праздновал? Не мучься, Валюша: я ведь к тебе ехала. В ресторане я могла бы и в Минске посидеть, а здесь зато морем пахнет. И мне вовсе не холодно...

Ей было холодно. Он чувствовал, как Валька сжимается, загоняя дрожь внутрь, куда-то под сердце. И в который раз подумал, как нескладно получилось с ее приездом: сорвался

быстро, ничего не подготовив, ребятам в общежитии сказал, чтобы не ждали, да и в ресторане, если б повезло, разве были бы они одни? А ему надо сказать Вальке наконец, как нужна она ему, весной ведь, он защитится и уйдет в море... Дома-то она могла бы весело праздновать... не мерзнуть, а вот – приехала. И теперь согласна пить шампанское здесь... из бутылки. Хорошо хоть упростили швейцара вынести это шампанское.

Валька дотянулась губами до его щеки и высвободила руку:

– Дурашка, ведь семь минут осталось.

От фонарного света часы расплывались, циферблат казался необъятным и словно плыл по воздуху. Сумка, которую Валька открыла, тоже выглядела великоватой и казалась хозяйственной в руках тоненькой Вальки, тоненькой даже в этой черной синтетической шубке. Из сумки она достала зеленую бутылку и шоколадку, которую швейцар почему-то сам догадался вынести «на сдачу». Валюша оморозившимися пальцами срывал с пробки фольгу. Какой-то мужчина появился и топтался на остановке, нетерпеливо вздергивая голову на часы и в глубину улицы, откуда мог появиться хоть какой-то транспорт.

И подошел ведь трамвай! И в его лягзе, и в пустоте за светящимися окнами молодые люди у киоска почувствовали себя еще более сиротливыми, они невольно коснулись друг друга плечами, чтобы не потеряться в этой сиротливости.

Мужчина неудобно взбирался в трамвай: руки заняты, а на ступеньках, видно, снег натоптали до льда. И Валюша уже хотел перебежать дорогу, но тот вошел в вагон и смотрел на них в окно. И словно ждал чего-то. Медленно тронулся трамвай, а юноша снова завозился с пробкой.

– Что вы эт-то делаете?!

Они оба вздрогнули от неожиданного крика. И увидели того мужчину, прыгающего назад со своими свертками. Кондукторша расплющила на стекле лицо, потом махнула водителю – мол, уже набрался! Трамвай взвизгнул на повороте...

– ...Я эт-то вас спрашиваю, вам что – места на земле нету?

И отдышался:

– Идем! За мной...

– Вы не имеете... – Валька просунула руку юноше под локоть.

– Имею... Идем же, может, успеем.

И заторопился, оглядываясь и бурча, впереди них... Дом стоял здесь же, невдалеке, они поднялись следом на второй этаж.

– ...Оправдываться некогда и не к чему. Как есть, тому быть, малы еще осуждать... Лучше все равно теперь не найти, – словно не человек сказал, а дверь скрипнула, открываясь.

Юноша и девушка стояли на пороге, а из комнат по-прежнему скрипел голос, который почему-то завораживал и подчинял их себе.

– Раздевайтесь... а-а, черт... зеркало потом... стул на кухне... проходите же, еще и уговаривай! – хлопнула пробка и включенный приемник отозвался перезвоном курантов.

– Еще минута: выпьем за старый, как положено... будь он неладен...

– А теперь за Новый, уж всем сестрам по серьгам пусть будет... нового счастья желать не буду – это берегите. Пей девочка, до дна пей... от тебя это счастье больше зависит... Хрупкое оно – счастье-то мужское, не с морем бы ему вязаться...

– А теперь – похозяйничаем!

Они могли отдышаться и оглядеться. Их неожиданный хозяин казался бы полным, если бы не вытянутое лицо с твердыми глазами под пепельными бровями. Брови почти не выделялись на немного отечном бледном лице, по которому трудно было определить возраст, но молодые гости жили в том своем времени, когда люди в сорок кажутся уже почти стариками. Новый китель с несколькими шевронами и петлей на рукаве казался на мужчине затасканным, и по лацкану ползла дорожка из пепла. И вся квартира была пепельной: валялись книги, кото-

рых давно не брали в руки, на сером пианино громоздилось несколько запыленных чемоданов, а на письменном столе засох цветок. И везде пепел, он каким-то путем попал даже в плоскую и, наверное, красивую люстру...

Пока хозяин закуривал новую сигарету, а потом, вспомнив, открывал форточку, девушка толкнула друга, показала глазами. Юноша тоже увидел на приемнике среди того же пепла – обручальное кольцо.

– Золотое... – сказал он шепотом.

– Брошено, – шепнула Валька и обвела взглядом комнату.

– Лежит просто, – одними губами сказал Валюша, его встревожил ее поспешный вывод, в голосе девушки слышалась тревога.

– Бро-ошено... – зашептала огорченно Валька и выпрямилась.

– Осмотрелись? Знакомиться принято... лучше позже, чем... – голос по-прежнему скрипуч и равнодушен, но рука у локтя Валюши – добрая.

– Валю... лентин!

– Тебя, забияка?

– Валь... Валентина!

– Ха-ха-ха... ха-кха-хо... Ну, сюрпризы – как знааменье... Ха-ох-хо!

Беспечный и громкий хохот так не вязался с настроением этого человека и с самой комнатой, что Валька, как тогда на остановке, ухватилась за рукав юноши и совсем по-бабьи прикрыла рот ладошкой. А хохот, освобождаясь, рвал прокуренный серый воздух, колебал холодный поток, текущий от распахнутой форточки.

– Ах-ха... вот ок-казия, братки, во-от смех-ху! – не мог остановиться хозяин, – одни Вальки... нет, кто поверит... Ух... Одни Вальки собрались!

И теперь уже хохоча втроем и удивляясь совпадению, принялись они хлопотать по квартире, сталкиваясь, мешая друг другу и смеясь оттого еще пуще.

И Валька выгнала мужчин на лестницу: «Ровно десять минут курить... не меньше, но не больше!»

И Валентин Григорьевич, подмигнув тезке – «хоть отчества различают», – ушел вниз. И вернулся, когда Валька уже перевешивалась в нетерпении через перила, готовясь звать погромче. Он вернулся, сам смущаясь неожиданным удовольствием: тащил горбатенькую, измятую сосенку. «Пусть и без игрушек...»

Поставили ее меж тремя чемоданами. Сосенка блестела каплями стаявшего снега и одним боком была красавицей. «Это ведь как взглянешь», – философствовала, весело пьянея, Валька.

– ...А вы почему, Валь Гри, решили прыгнуть? Ведь ждали же вас где-то, правда?! – Валька нагорланилась и наплясалась, а теперь уселась с ногами на диван и пыталась противиться сну. – Вы моряк?

– Рыбак я... капитан даже, вот!.. Ждали... да не там, где дожидаться надо... С моря трудно ждать, девочка. У тебя, что, Валюша – ты уж прости! – Валюша-Валентин, курево кончилось? Что куришь-то? Выпьем... напоследок.

– ...Хочешь сигару? Натуральная гавана... из Гаваны... ха! Я их одному другу-любителю все возил... почти каждый рейс... да бог им судья! Ты кем будешь?

– Технологом по обработке. Не хочу я курить, Григорич.

Валька ткнулась носом в плечо Валюши.

– Ложись, забияка. Ложитесь – пятый час. Вон в той комнате, там в шкафу белье из прачечной. Пора отдыхать. – Капитан поднялся с кресла, голос его снова заскрипел.

...На улице шел снег. Крупными, мягкими хлопьями, как и положено в такую ночь. Где-нибудь дежурил Дед Мороз: самый настоящий, добрый, дарящий. Тем, кто в него верил, сни-

лись добрые сны. Даже, если сон застал кого-то на борту качаемого волнами судна. И пробуждение сулило подарки.

Шел сонный снег.

По улице еще никто не проходил, и снег ложился ровно, сглаживал прошлогодние следы, которые походили на шрамы.

Окна спали в доме. И в других домах – во всем городе, или почти во всем. Светилось в доме только одно окно, потом в нем – погашенном – светилась кошачьиным глазом точка сигареты. Погасла, и она.

...Валька проснулась легко... За окном сверкало дерево, укутанное снегом. Сверкал в Вальке вчерашний день, а наступивший новый казался совсем розовым. Она щелкнула юношу по носу.

– Вставай, лежка! Где наш Дед Мороз?

– Ты ведь не уедешь... останешься теперь – со мной? – зашептал он. – Мы придумаем что-нибудь, нам надо теперь – вместе...

Он хлопотливо одевался, стесняясь. И побежал умываться, но сразу из другой комнаты крикнул: «Иди скорее!»

Валька босиком зашлепала следом.

Валька никогда не видела ананас, даже издалека. Читала, знала, что – есть. Даже запах по книге знала – земляничный. А – не видела и не держала.

– Ананас, – сказал Валюша.

– Тебе, – сказал.

Ананас лежал на прибранном столе. Чемоданов не было, и книги стояли на полках. И брошенного среди пепла кольца – тоже не было. Ананас был теплый даже на взгляд. Под ним лежала записка. Голос записки был скрипуч, словно у открывающейся двери.

«Ухожу в рейс. Надолго. Вам должно быть хорошо. Ключи на приемнике. Оставьте их у себя – у меня есть вторые. Квартира оплачена вперед, и никто не придет. Ананас делите сами».

– Попролам, – сказала Валька.

Они вышли в снег. Было здорово, снежки сами скатывались, и Валька сразу попала точно. А Валюша скатал один, но бросать не захотелось. Он подхватил ее на руки.

– ...И ведь даже фамилии не подписал, – перестал вдруг юноша кружить смеющуюся Вальку.

– Дед Мороз! – сказала Валька и положила голову ему на плечо. – Идем домой, ты ведь тоже есть хочешь?..

7

*«А ты ещё имеешь смелость
По луже топтать каблучком.
И в горле боль, но ты, как птица,
Поёшь...»*

(Л. Мартынов).

Медвежонок был игрушечный, с черной тряпошной шерстью, с нелепо раскоряченными тупыми лапами, подшитыми, будто валенки, кожей. Нос у него сморщился, казалось, что он принюхивается к собственному запаху и даже недоволен им. На самом деле медвежонок привык к своему захватанному мазутными руками телу, привык и к соляренному духу, пропитавшему его давно и накрепко.

Если бы даже у игрушки этой была память, то и тогда медвежонку было б нелегко припомнить, каким он был прежде. И вернула бы память не к черному плюшу, из которого его кроили, а к хрустящему восторженному смеху мальчугана, что кормил медвежонка кашей. Однажды ложка попала зачем-то в круглый веселый глаз, манная капля прокатилась к носу, да так и засохла шрамом, вздернувшим курносую пуговку еще сильнее.

Но у Мини – так звали медвежонка, когда он не ходил еще в море – не существовало памяти и до сегодняшнего дня он вполне довольствовался своим висячим положением над серой подушкой с грубым черным клеймом почти посредине, прихлопнутым рукой явно небрежной и равнодушной. Раньше, когда на эту койку еще приходили письма, Мини по конвертам сразу узнавал ту же руку: место для штампа всегда выбиралось самое неожиданное – на лице, на самом ярком цветке. И хотя хозяин радовался и таким конвертам, Мини казалось, что ставит штампы один и тот же человек. Но Мини был только медвежонком, да и то – игрушечным...

Сейчас медвежонку оказалось бы не до рассуждений, будь он даже живым, Серая подушка под ним ерзала, сухо клацали стальные крючки, на которых болтались зеленые потертые шторы, что отделяли коечный мир медвежонка от остальной каюты. Когда шторы с визгом съезжались в одну сторону, Мини мог видеть, как болтается в прикрепленном к переборке подстаканнике консервная банка из-под сгущёнки. Банка та издавна служила в пепельницах и была полна мелких, спаленных до фильтров окурков. Снаружи доносились удары, от которых все резче клацали крючками шторы, все раздраженной дергалась банка, все чаще выпрыгивали из нее обожженные фильтры сигарет, а пепельное облако все гуще оседало на полку внизу, стекая затем неслышными серыми ручейками куда-то ниже...

Мини уже, конечно, встречался со штормом. Но сейчас его неправдашные глаза были растерянны: он раскачивался на своем шнурке в такт нарастающим снаружи ударам, пока не стал колотиться по дну верхней койки. Мах – удар, еще мах – еще удар; ра-аз – бах! – два-а – бах!..

Иногда при толчке снаружи совсем грубом, от которого поскрипывала переборка, Мини несмело жаловался тем единственным звуком, который зашили ему в животе. Ай-ма-а!.. Но медвежонка никто не слышал. Кювета была пуста и гулка.

Шла «Флора» – тайфун. Какому потерянному безумцу привиделось впервые в этом коварном буйстве женское имя?..

Средний рыболовный траулер «Мерефа» задыхался и карабкался на темную водяную гору в бесплодной надежде, что гора окажется единственной; а добравшись – стремительно и длинно скользил по спине этой горы, сливая с себя потоки и постанывая. К новой волне, которая поднималась где-то в небе...

И хозяину было не до жалоб Мини, маленького неправдашного медвежонка с манным шрамом на переносице и растерянными глазами. Хозяин его, второй механик «Мерефы», скользил по рифленому железному настилу, с тревогой вслушиваясь в надрывное хрипение главного двигателя.

В вентиляторе давился брызгами холодный ветер, но механик все не мог выкроить время, чтобы отвернуть раструб вентилятора, который он еще утром сам направил жерлом к носу траулера.

Сейчас лучшая музыка для всех на борту – ровный гуд двигателей. Этот рокот удерживает на плаву их жизни, поэтому механик часто прикладывает тыльной стороной ладони к тем местам, где за крышками скрываются подшипники. Можно быть спокойным: масло почти не нагрелось, как кстати промыли они всей машинной командой коллектор и сменили масло позапрошлой ночью!.. Черт его знает, сколько еще штормовать придется, дури в этой «Флоре», хоть отбавляй, хоть молись на нее. За весь февраль всего пять промысловых дней, что за напасть такая!..

Было около четырех ночи. Конец вахте, и механик чаще посматривает на хронометр.

Траулер вдруг швырнуло резко и зло. Механик поехал к компрессору, с трудом удерживаясь на ногах, вцепился в трубу охлаждения. Двигатель взвыл и начал набирать обороты: там – в этом кипящем море – винт оголился и молот воздух. Механик бросился к регулятору, но судно уже выровнялось и теперь потащило куда-то вверх.

Он свистнул в штурманскую.

– Вы что – сдурели там! Пятьдесят пять крен! Двигун запороть хотите, м-мать вашу...

– Н-не уд-держал на в-волну рулевой, Виталич. Лаг-гом встрет-тил, м-муд-дрец! Мне здесь с-стекло выдави-ило, – штурман от злости заикался там, на другом конце переговорной трубы.

– Шуточки... Третьего пойдешь будить, моего тоже толкни!

– Д-добро!

Через полчаса он сдал вахту третьему механику и поднялся в рубку. Сменившийся матрос пристраивал на место разбитого стекла фанеру. В рубке было свежо, и второй штурман задыхался на верхнем этаже витиеватого мата. Вахтенный штурман стучал ногтем по барометру и улыбался довольно беззаботно и выспанно – он был совсем молодой.

– Вот! Вот с-смотри на него, В-виталич! Не может руля в руках удержать, стервец непросоленный. А в штурмана ведь мет-тит!

– Зачем же практикантов к рулю в такую погоду ставить. Давай помогу заколотить...

– Пусть сам уродуется, не манную кашу лопать!

– Брось, Аркадий, чего теперь-то психовать. Пусть отдыхает, у меня лучше получится. А то вон Серега твой задубеет здесь за вахту, весь твой псих у него боком выйдет...

Море в последний раз свистануло брызгами, потом стало чуть тише: фанера приглушила рев.

– Радетель ты наш! – штурман кивнул сменщику, взял механика под локоть. – Не укачала девушка-Флора? К утру кончится. И не девушка уже – столько времени от Кубы шла, всю Атлантику измочалила, а все силищи, не приведи бог... Покурим в салоне?

– Нет... наверх поднимусь. Соляром прокоптел, хоть воздуха вдохнуть свежего.

– Смотри там, наверху: у нас как-то рыбмастер вышел на крыло покурить – только его...

По мокрому трапу механик вскарабкался на верхний мостик. Вот здесь ветер дул настоящий, нужно было согнуться, чтобы устоять перед ним. И вокруг было только море, море, море.

Траулер напряженно подрагивал где-то изнутри, и было странно, что эта точка сопротивляется и выстаивает в такой коловерти. Механик, удерживаясь за леера, раскачивался вместе с траулером, замороженным дрожанием судна, напряжением волны, которая все не могла перевернуть траулер, пропастью, куда летел он, чтобы на следующей волне вновь вырваться – вверх.

Небо было совсем чистым. И очень черным, прямо неестественно по-театральному черным. И звезды казались вырезанными из фольги и приклеенными.

А под траулером терзалось живое море.

У моря были глубокие глаза, в которые смотрел сейчас механик, и руки-волны казались мягкими и зовущими. «Боишься!» – ласково-насмешливо звали глаза, раскидывая руки. «Не боишься?», – спрашивал ветер, когда мостик с механиком взлетал по гребню волны так высоко, что хоть – отцепляй любую звезду. «Боишься...» – шептала пена, когда судно с человеком, сжимающим леера, летело в пустоту.

Ему стало тревожно. Не страшно, чего бояться моряку, когда надежно работает двигатель и судно послушно штурвалу... Но он представил, как далека отсюда земля, и тоска по берегу прервала дыхание, потому что глаза у моря показались знакомым-знакомые, такие до боли знакомые, что механик уже судорожно вцепился в мокрые, обжигающие солью и холодом леера и наклонился – к самым глазам.

Каким-то немислимым нутряным усилием он заставил себя оторваться, вырваться из этого наваждения. И спустился в каюту.

Там было тихо, лишь Мини, его замусоленный тряпочный медвежонок-талисман, несмело жаловался и смотрел растерянными глазами, раскачиваясь на своем шнурке.

А потом медвежонок сидел на маленьком столике, навечно привинченном к переборке, и уже с любопытством и нежностью смотрел на человека, да ерзал по столику, чтобы придвинуться ближе к листку бумаги – наверное, хотел заглянуть в листок. Но Мини читать не умел, поэтому моряк писал письмо, доверяя бумаге свое наваждение и свою тоску.

Какие только письма не пишутся в море, когда Атлантикой играет тайфун с женским именем Флора, а волна смотрит на моряка знакомыми, далекими-далекими глазами... Прочитают ли они те строки, в которые заглядывает игрушечный медвежонок Мини с манным шрамом, вздергивающим и без того курносый нос его?..

Море все плавнее раскачивает траулер. И черный игрушечный медвежонок привычно пахнет соляжкой, согревая щеку уснувшего рядом механика...

8

*«Все тихо и молчит,
и вот луна взошла...»*

(Ф. Тютчев)

Поздним вечером ко мне постучалась женщина.

Переехал я в эту квартиру совсем недавно и еще никого не знал. Впрочем, лицо женщины было мне знакомо: запомнилось в несколько случайных встреч на лестничной площадке. Совсем короткие волосы придавали ее лицу мальчишечье выражение, если видеть мимоходом, выглядела она совсем молоденькой. Да и фигура у нее была подростковой, чуточку даже угловатой. Ей не шла помада, делавшая рот меньше и жестче. Потому что губы тоже были подростково припухлые, и непонятно, зачем их нужно скрывать этим жестким помадным рисунком.

И только глаза возвращали ей возраст, быть может, увеличивали. В них стоял некий грустный вопрос, ни к кому не обращаемый, плыли отрешенность и холод, от которых становилось неловко. Хотелось скорее пройти мимо: видимо, сказывался простой инстинкт самосохранения, или обыкновенный бытовой эгоизм, называй, как хочешь, – человеку, который сталкивается с подобным взглядом, является чувство неосознанной вины, взваливать же эту вину за здорово живешь на себя вовсе не хочется.

Но я быстро забывал этот взгляд чужого человека, помочь которому ты не способен. Да и не знаешь – как, не знаешь даже, нужно ли – помогать. Иногда ведь и грусть и боль – достояние столь же сладкое, что и радость. Страдание очищает и приподнимает человека над обыденностью, и это более интимное, более хранимое достояние: радостью человек охотно поделится, боль и грусть сильный человек не понесет на люди, это свое... А незнакомая женщина производила именно такое впечатление – человека, который привык самостоятельно распоряжаться своей судьбой.

Она попросила о помощи.

Ей необходимо позвонить. Прежде всего, узнать время прилета самолета. Я не расслышал, из какого города он летел, понял только – самолет пролетный и сядет на полчаса.

За окном шумели проходящие машины, потрескивала неоновая реклама. Ее свет окрашивал падающий снег в розовое. С непривычки снег мог показаться искрами, несущимися с большого пожара. Эти неправдашние искры-снежинки, на которые я так любил смотреть

и которые примиряли меня с этим приоконным неоном, почему-то не показались женщине, которая вошла в комнату, закончив телефонные хлопоты. В руках у нее была телеграмма.

– Какой... безобразный снег, – она передернула плечами и прислонилась к дверному косяку так резко, словно желала нарочно ошутить реальную жесткость дерева. – А снег этот нельзя... потушить?..

Наверное, ей было необходимо выговориться, а может, даже выплакаться, и если бы здесь было купе вагона, а я не был бы соседом, с которым завтра придется здороваться, то так и случилось бы. Странно, однако, мы склонны порой случайно встреченным людям открывать такое сокровенное, чего не доверили б и самому близкому...

– Мне ужасно неловко... да и не знаю, как вы отнесетесь к такой навязчивости. Только мне не к кому сейчас обратиться, а вы... – она определенно знала, как я отнесусь к любой ее просьбе. Разве можно отказать в чем-то женщине, когда она постучалась поздним вечером, и когда у нее усталые глаза, и когда за окном несется откуда-то багровый снег?..

Предложить ей сесть? Кофе?

– И не беспокойтесь, ради бога. Просто мне очень нужно быть в час в аэропорту... а вызвать такси можно от вас. Если...

Я стал сбивчиво говорить, что нет никакого беспокойства, что я сегодня один и все равно буду поздно работать, что рад буду хоть чем-то быть ей полезным – соседи же... И все это – стараясь не натолкнуться на отсутствующий взгляд, не выдать своего интереса к ней. Потом – больше для того, чтобы как-то подтвердить свою готовность быть полезным – предложил отвезти ее самому.

– Это было бы самое лучшее, – сразу сказала она. – Нам ведь хватит сорока минут на дорогу?.. Двадцати? В половине первого буду готова.

И вышла, бросив резкий, что-то свое будто зачеркивающий, взгляд на горящий за окном снег.

Когда мы сели в машину, снег перестал идти, хоть небо и было еще затянуто низкими облаками. Было тускло и тихо. Доехали мы молча. Ее рука лежала на колене, открытом полем черной шубы. Колено обтягивал тонкий чулок, а в руке подрагивала все та же телеграмма, зачем-то взятая ею с собой. Казалось, молчаливая моя соседка так и не выпускала этот листок из руки с той минуты, как получила: словно конец нити, по которой надо идти далеко... Да мало ли что можно нафантазировать себе в молчании рядом с незнакомой женщиной, сосредоточенной в себе настолько, что жесткая складка залегла у сжатых губ...

Мы подъехали к аэропорту.

Здание светилось суетно и сонно. И внутри царил напряженный сон, изредка дробящийся голосом репродуктора. Здесь люди привычно оживали на мгновение, чтобы вновь окунуться в настороженную дрему. Свет ламп сжимал веки и накладывал резкие тени на обезразличенные сном и усталым ожиданием лица.

– Прибыл рейс Мурманск-Минводы, – сказал репродуктор. – Самолет вылетит на Минводы через тридцать пять минут, – добавил репродуктор устало.

Моя спутница прошла на выход. Губы жестко сжимались на совсем остывшем лице. Рука все так же сжимала листок телеграммы. Навстречу ей уже вылились пассажиры приземлившегося самолета.

Вернулась спутница неожиданно быстро.

Я не заметил, как она подошла, а когда тронула мой локоть – не вдруг узнал ее.

Глаза – распахнутые глаза ее – светились голубым мерцанием, как те маленькие, застенчиво-броские, бело-голубые цветы, что облепили большую ветку в руке женщины. Цветы были мне незнакомы, очень далекие и нездешние, как и женщина, что явилась с ними. Шубка распахнулась, а губам моей вновь явленной соседки вернулась припухлая беззащитность. Телеграммы не было. Вместо листка бумаги держала она эту ветку с далекими цветами, словно

вобравшими в себя холодное, радостное снежное сияние, нежное и резкое, будто хруст утренней пороши...

На нас оглядывались пассажиры аэровокзала. И меня волновало это признание, пусть я и был простой случайностью.

Мне казалось, что и сон исчезал из-под высоких потолков зала ожидания. И само ожидание этих людей не казалось теперь сонным и бессмысленным. Они вырывались из случайной дремы своей и – улетали в другую, новую жизнь. Почему-то в дороге чаще пребывают мужчины.

Где-то их ждали уютные женские руки. Ждали раскрытые тёплые губы. И глаза, распахнутые невыразительными словами телеграмм. Ради тех глаз можно было вытерпеть даже обезличивающий, тусклый свет всех станционных ламп...

Мы возвращались в темной, без неба, ночи, когда женщина протянула руку к ветровому стеклу. «Прощу вас, остановитесь!..»

Я выключил мотор. И свет. Вокруг было безмолвно и безлюдно.

А сквозь облака пробилась, и вот уже выкатилась большая оранжевая луна. Стало светло; все кругом залилось бело-голубым светом. Призрачным и все же таким реальным, что хотелось почувствовать этот свет на ощупь.

– Когда она взойдет – ее везде видно, правда? – сама себе подтвердила женщина.

Мне представились далекие заснеженные холмы, на одном из которых мог, наверное, стоять сейчас человек и так же зачарованно смотреть на этот оранжевый диск в небе. Мог стоять он и на вздыбленной волной палубе. Потому что, действительно, луна – видна везде, когда она взойдет. И потому что она сводит взгляды этих двух, зачем-то разъединенных во времени и пространстве.

И, наверное, в этом пространстве меж ними есть свой смысл, как в той неувядшей ветке с белыми цветами, согревающей руку женщины. Как в том тихом свете, что обливает их обоих, когда взойдет луна.

Есть смысл в напряженных ожиданиях, стынущих женских глазах, готовых взорваться нежностью навстречу голубому сиянию. И блажен, кого видят эти женские глаза через дороги и время.

Когда взойдет луна...

Рождественское варенье

Странный мы всё-таки народ – двойственный, что ли... В каком ещё краю встречают=отмечают Рождество дважды? Или – Новый год? Только на Руси, даже если она бывшая Восточная Пруссия. Язычники мы всё-таки, пусть и завзятые атеисты. И, возможно, только у таких язычников, дважды радостно празднующих Рождество, и случаются самые нелепые истории, которые, однако, вовсе не обязательно заканчиваются трагедией. Все мы порою не отдаём себе отчет, к чему могут привести минутные слабости, следование которым... впрочем не будем торопиться с выводами, тем более, что, как ни пытайся перевести стрелки часов назад, это никому не удавалось даже в детстве.

Вот из-за такой приверженности традициям и приятному во всех отношениях увлечению приятель мой Дмитрий, вполне благополучный и благонамеренный человек, попал «как кура в ошип». Сам он и рассказал эту историю: не поймёшь теперь, смешную ли, грустную...

Увлечение у него вполне безобидное. Каждый год в конце лета и всю почти осень священнодействует он на кухне – варит разные варенья. И надо сказать, вкуснейшие, притом всегда одной консистенции, так что его-то варенье, в которое он никогда не добавляет воду, по одной ложке узнаешь. Клубничное, малиновое, сливовое, из черноплодки и яблок, даже из перележалых бананов, на которые почти не тратится сахар.

Разумеется, всё это разнообразие никогда не съедается, банки и баночки скапливаются в шкафах на веранде и в подполе, Митя раздаёт их друзьям и на кафедре. Жена его Александра, долгоногая и черноокая хохлушка, очень деятельная и, в отличие от него, скромного филфакковского доцента, управляющая солидной транспортной фирмой, порой благодушно ворчит на такое засилие банок-склянок, но это так, походя и любя.... Живут они уже двенадцатый год. У обоих было прежде по короткому браку, а эта встреченность оказалась удачной быть может оттого, что он на семь лет старше и на столько же примирившийся с жизнью, быть может – именно по разнице темпераментов. И кажется, единственное, что порой туманило их радость, это отсутствие детей. Но она до сих пор влюблена в его меланхоличное пение романсов, в его огромную библиотеку и начитанность. И в его умелые руки, которыми он, филолог, может и полку новую соорудить не хуже журнально-итальянской, и без слесаря-водопроводчика обойтись. И ещё любит Александра рождественско-новогодние праздники, начиная с двадцать пятого декабря и заканчивая четырнадцатым январём.

Приглашает Александра на Рождество, уже который год, трёх своих институтских подруг «на свеженькое варенье... ну, вы знаете...». Они – Катенька, Вера и Ната – и вправду знают и любят этот их сложившийся обряд, дань его увлечению: именно на первое Рождество (пусть и католическое) после всяких закусок и вин выставляются баночки с новыми вареньями – на пробу и восторги. Катенька уже давно разведена, тоже бездетна и не всегда приходит в сопровождении очередного «ах, он такой душка, это – теперь навечно». Зато Вера и Ната вполне благополучны в замужестве и умело управляют со своими «мужиками», предоставляя им считать себя «главами», которые, впрочем, деятельно поворачиваются шеей.... И они все красивы или милы, подруги Александры, хотя и каждая по-своему.

Ах, как прекрасны эти зрелые женщины в такую рождественскую ночь, как обжигающе манящи донесёнными до декабря солнечно-золотистыми шейками и грудью, чуть прикрытой мягкой тканью – черной, фиолетовой и вишнёвой, из-под которой видимо-дразняще проступают неувядшие бутоны сосков! Как женственны эти мягкие колени долгих ног на высоких каблуках, что придают женщине такую полётность в мягком комнатном вальсе! Как округлы эти обжигающие локотки, доверчиво лежащие на мужском плече, как таинственно глубоки эти глаза в мерцающем свете ёлочных лампадок, как влажны эти умело подкрашенные губы в сводающей с ума полуулыбке!..

А за окном уже глубоко тёмно, уже ночь приоткрыла форточку и в неё так сладко и свежо врывается серебряным облачком морозный воздух. И как по заказу ватными голубоватыми хлопьями в слабом посверке уличного фонаря медленно падают к земле тяжелые снежинки, всё плотнее сбиваясь друг к другу и укрывая, наконец, человеческую неопрятность земли.

– А теперь – дегустировать Митино варенье! – зовет всех Александра к накрытому столу с чайным самоваром во главе. Щеки её девичье розовеют, чуть раскосые глаза теплы весельем и выпитым шампанским, узкие запястья кажутся ещё тоньше в серебряных браслетах, а тонкие пальцы уже раскладывают сухие печенья в плетёные корзинки.

– Красавица всё же у тебя Шурочка! – говорит хозяину кто-то из мужей, тут же получая шутиливо-ревнивый тычок от собственной половины. – И ты, и ты, киска, у меня мила...

– А к варенью нынче Массандра, – машет салфеткой хозяйка. – Настоящий портвейн, не туфта – из Крыма, от родителей тащила.

Она и в самом деле позволила себе летне-осенний отпуск у родителей, «в кои то времена вырвалась!».

Она уже, как и ежегодно, положила себе в расписное блюдце по ложке разного варенья из нескольких баночек, шеренгою выстроенных по столу. И все гости так же привычно накладывают себе разноцветные маленькие порции, стараясь не смешивать их на блюдце. Дегустация! «Что-то жидковато оно у тебя нынче», – мельком проговаривает Александра мужу, отпивая вино и поднося ложку к влажным губам. Дмитрий пожимает плечами и опрокидывает рюмку водки – вино он не пьёт.

Она делает маленький, совсем чутошный глоток, потом пробует ложечку розовым язычком и зачем-то подносит ложечку к самому чуть вздёрнутому носику. В глазах её скользит тень удивления, она переводит взгляд на мужа, потом – на белокурую Нату. Та занята рукавом своего благоверного, умудрившегося-таки капнуть на себя вареньем. Белолицая Ната встречается с этим взглядом и вдруг щёки её пунцовеют, она слишком поспешно уводит свои глаза, берёт розовеющий бокал и поднимает его: «За тебя, дорогая!..»

Все шумят здравственными словами, улыбаются, чокаясь и выпивая. Вино и правда, отличное, и не пьянит, но – располагает. «Ну, ну, подружка...» – чуть не вслух проборматывает хозяйка и уже несёт к губам новую порцию.

Глаза её темнеют, она пристальней и дольше вновь смотрит на мужа, который вдруг ощущает этот тяжелеющий взгляд, ещё не понимая, но уже с долей неуютя пытается подмигнуть Александре: ну как, мол, всё хорошо? Но этот её взгляд уже ртутно перетекает на Катеньку, нынче одинокую, но на правах дружбы «ангажирующую» поочерёдно каждого из троих мужчин. Катенька поменьше и, пожалуй, поизящнее своих подруг, портит её разве что небрежная сигарета и небольшой шрам, вздёрнувший уголок рта будто в постоянной усмешке. Но она добрая и безотказная, всегда готовая помочь, и влюбчивая до восторженных или отчаянных слёз.

«Вот это уже его варево, – с какой-то лабораторной усмешкой пробует Александра из очередной ложечки. – И это, ... а это – Веерка постаралась, с курагой он никогда не делал...». А он, уже дрогнувшей рукой, опрокидывает новую рюмку холодного «Флагмана» и всё равно ощущает, как вязкая тревога заполняет грудь.

Мужья её подруг безмятежно и рассеяно посматривают в телевизор, а женщины, уже торопливо и устремленно опробовавшие из всех баночек, скучнеют, искоса бросая взгляды друг на друга, и, в то же время, стараясь не пересечься этими взглядами. Его же мысли судорожно сталкиваются в голове, глаз он ни на кого не поднимает, а лицо горит пятнами – хоть прикуривай от них. Криво улыбаясь, он подходит к тёмному окну, за которым зачем-то разошёлся ветер и гонит по городу настоящую метель с тоской и безотрадностью. «Она поняла...», – стучит в голове, и влажное стекло окна не может охладить лба.

Так и было: она ведь знала, что варить он мог только ночами, сколько таких ночей у них было, когда он, пахнувший смородиной или яблоками, нырял в постель, и эти запахи добавляли

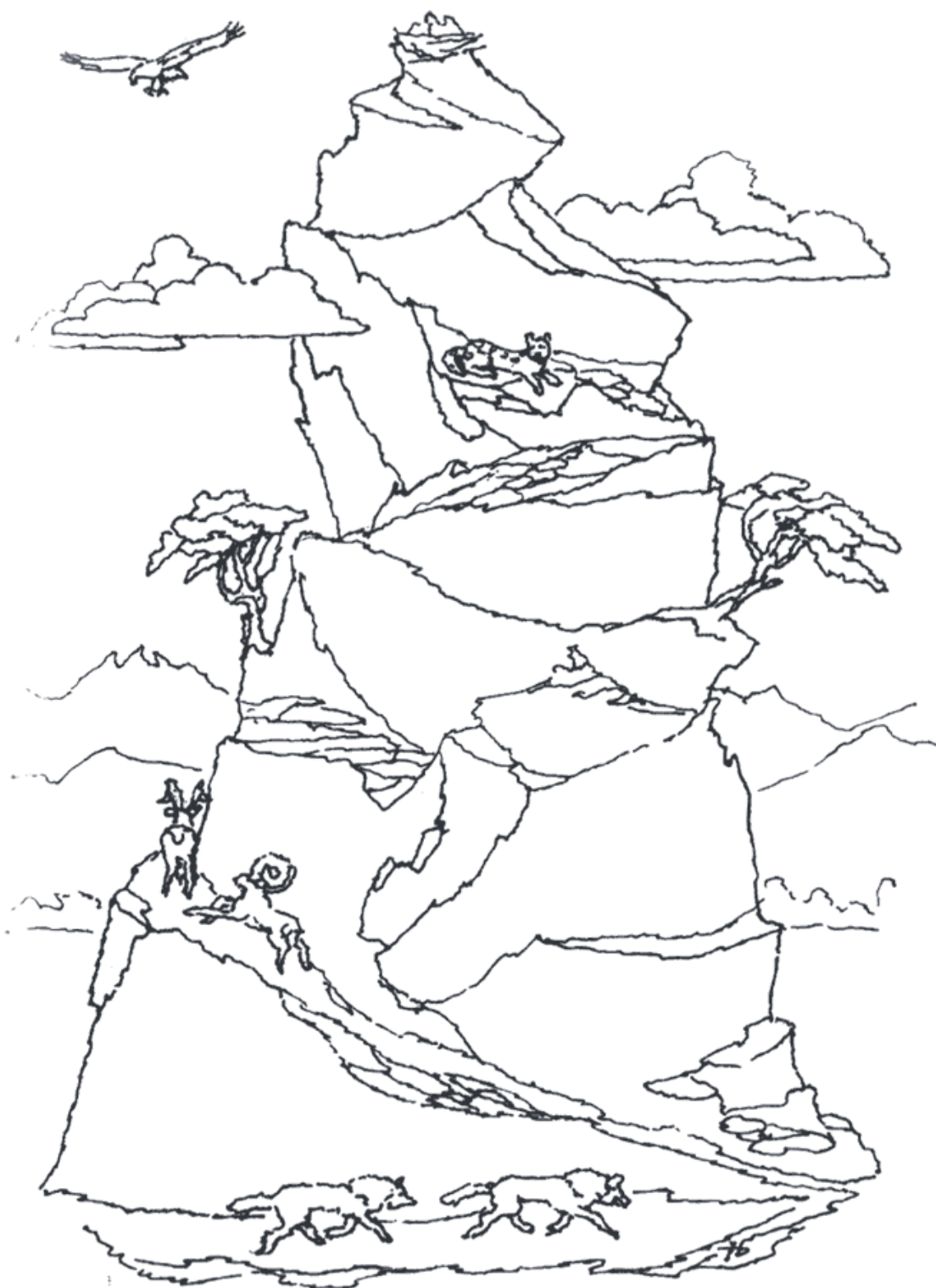
к их страсти ещё что-то более дикое или совсем нежное – в зависимости от того, что булькало в это время на плите. И он ведь никак не мог отказаться от помощи Катюши, когда она «заглянула на минутку, не надо ли помочь». А в следующий раз Вера «забежала» с новым рецептом и они до утра его опробовали. А Наташа...

Он вышел на кухню, глубоко затянулся дымом сигареты. Нет, курить он теперь не бросит... Он уже представлял себе унижительность разговора и справедливость упреков, с нарастающей тоской нарисовал сцены развода и недоумённо-сочувственные расспросы: «такая, мол, семья... позавидуешь... а вот, поди ж ты...». «Если бы ничего не было, пусть бы...» – крутилась беспомощная мысль. Но всё – было, и назад ничего не вернуть... Даже в эту, всегда ведь прежде волшебную ночь.

Вошла Александра с измазанными вареньем блюдами. С чутошной усмешкой, выдержав паузу и осторожно составив посуду в раковину, она вдруг растрепала ему затылок: «Ну-ну, куришь теперь, с какого это перепугу?.. Вот и это Рождество ушло... Ты меня любишь?» И добавила: «Все мы родственники на этой земле, так? Да, я тебе сказать не успела, сама только поняла: я, знаешь, беременна». Она обняла Дмитрия сзади, он почувствовал её дыхание, горячая щека прижалась к его щеке. «Ты рад?! С Рождеством, мой дорогой. Я тебя тоже люблю. Пойдём к девочкам, а то они зажурились чего-то...».

А за окном метёт метель.

Зверинными тропами



Вожаки Тянь-шаньская поэма

*Мне ни прощанья,
ни прощенья...*

I

Волки пировали всю ночь.

Они до сих пор не могли поверить в свою удачу: торопливо, с трудом и хрипом проглатывали ещё горячие куски. Нет-нет да и отрывались от тёмной туши, настороженная ярость вздыбивала и без того напряжённую шерсть на горбатых загривках: то один, то другой волчара, отскочив от поверженного марала, осторожно обегал кругом стаю, взбирался на огромную каменную плиту, нависшую над тёмными верхушками елей, что спускались по щели к полузамерзшему ручью.

Каждый из них, ночных леших – серых, поджарых, большеголовых, остервенелых и ослеплённых многодневным голодом и всё же неусыпно осторожных – вскакивал, пружиня лапы и напрягая уши, на ту истоптанную плиту, с которой их могучая жертва пыталась совершить последний прыжок.

Рвали, отскакивали, хватали обрызганный кровью снег, пугались, косясь на ворон, которые терпеливо ждали своей доли, молча возвращались, не огрызаясь друг на друга, беззвучно перебирали лапами на одном месте, нетерпеливо и опасливо продолжая прерванное пиршество своё.

Вот кто-то из семи волков, ослеплённый мигом страсти насыщения, с таким остервенением рвёт свой кус, что отлетает назад, – и шевелятся рога, ещё час назад способные поднять на воздух или расплющить у земли любого из стаи.

Даже самого крупного из них – вот этого, что единственный из семи ещё не проглотил ни единого куска. Ни единого куска так пьяно пахнувшего на морозе мяса не проглотил. Не вцепился в это тело, так неожиданно и спасительно ставшее добычей стаи.

Хотя он имеет больше других прав... Право Первого.

И он один сидит неподвижно у самых рогов, которые кажутся порослями каменного кустарника: любому волку впору спрятаться под этими рогами.

Он – Вожак стаи – рискнул, вопреки здравому смыслу рискнул бросить стаю на этого гордеца, которого он, волк, знал почти с рождения... и справиться с которым могло помочь лишь чудо.

Вожак, словно желая вновь опознать знакомого, сделал несколько медленных шагов округ головы рогача. Видна хромота волка, еле заметная, она придает лишь некоторую валкость его походке и скрадывается широкой светловатой грудью, лобастой властностью головы.

Вожак подходит к вытянутой, по-прежнему напряжённой шее марала, косится на рога, лапой чуть трогает покрытую ином гриву, воротником сбитую на оленьей шее. Ощувив зуд, зализывает сукровичный развал на бедре, что успел-таки в последние секунды оставить ему на память марал.

Да, только чудо могло помочь истощённой зимою стае взять этого рычащего оленя. Здесь взять, на его родном утесе...

И Первый волк валкой походкой, словно матрос, снова обходит голову рогача с прикушенным в смертной улыбке языком, останавливается у вытянутых передних ног, сухих и таких мощных даже сейчас, когда острые копыта Благородного оленя неподвижны.

Он сразу понял тогда, что это чудо должно произойти, что-то в поведении великана этих гор насторожило и нашептало об успехе...

Волк обнюхивает острое копыто, оглядывает своих, рвущих мясо в голодном и недоверчивом испуге, вдыхает теплый пар. Без рыка, молча шевелит тяжелой головой на рослого волчонка, подобравшегося к шее их жертвы, – так шевелит, что переярок ту же задвигает хвост к поджарому животу и прячется за остальных. А виноватого взвизга его Вожак уже и не слышит.

Это всегда его, Первого волка, привилегия, а он не торопится начать свой пир. Его все ещё тревожит неразгаданность случившегося, ибо непонятное всегда несёт в себе угрозу, хотя Вожак и знает сейчас – опасности вблизи нет.

... В рассеянности он вновь нюхает остро-напряженное копыто поверженного оленя. И взгляд останавливает странная опухоль на колене марала – единственная помеха на вытянутых сухих ногах, на опухоли спотыкается глаз, этот комок на колене прерывает стремительную линию ноги рогача... так дело в ней? И тот, последний, напряженный прыжок – подрезала эта опухоль? Она – такая чужая, такая ненужная здесь, на этом совершенном инструменте, который помогал Благородному оставлять под копытами любые утесы и любых преследователей... такая же чужая, как и жжение у него, волка, теперь на бедре?..

Вожак лизнул свою рану. Затем, будто желая выправить тот единственный порок на колене жертвы, принимается разгрызать опухоль на ноге Благородного. Его, Серого Вожака, соперника в этих горах, неподвижного сейчас соперника, которого стая обратила нынче в пищу.

Чуда не было.

Было то, что каталось у него самого под шкурой вот уже третью зиму, хотя и не тревожило пока. Шальная пуля, даже не раздробившая кость, пущенная издали, наобум, мешала она выжить Благородному. Это она свинцовой опухолью связывала его прыжок надежнее пут.

Чуда не было. Был общий враг, всё тот же. Он где-то издали выпускал гром и этот горячий комочек свинца. А не достав Благородного, ушёл. Ушёл, забыл, приговорил. Приговорил, ушёл... нет, не забыл, придёт, как приходит каждую весну. Как всегда приходил.

Волк отошел чуть в сторону от пирующей стаи. Там насыщалась и его волчица, ей необходима была эта жертва Благородного, ибо она несла уже в себе новую жизнь. Его, Вожака, жизни – Продолжение...

И снова, уже безо всякой обиды на противника, принимаетсялизывать рану. Ему не в чем упрекнуть себя, это честный, хотя и предрешенный поединок. Так устроена их жизнь, они следуют её законам: нынче желудок многих успокоится – вон как терпеливо ждут своего вороны, вон и горностаи посверкивают глазами из-за камня, и тоненькое тьяканье лисицы послышалось...

Хромлый волк и этот олень были ровесниками, они родились в одно время и недалеко друг от друга. Они не раз встречались на горных тропах и не всегда ему, Первому теперь здесь волку, уступалась дорога, это так. Они были ровесники, и ему, его стае надо жить здесь дальше. Благородный был обречен уйти раньше, стая лишь завершила этот уход. Осенью волки не пытались, да и не могли помешать этому маралу продлить свой род, Благородный был яростен в своей любви. И не одна маралуха приходила на его зов и по следу к Утесу над верхушками елей, волк знал это. Нынче завершился честный поединок, свинец тот мог полететь и в него...

Вожак поднял морду и – завыл.

Густой, тоскливо-напевный, в точно определенных тактах переплетенный низким хрипом и клочкотанием горла темно-зеленый вой поплыл над такими же темно-зелеными волнами старых елей, над медленно осыпающимися красными стенами щелей, над плавающими в серебряном утреннем тумане бесконечными грядами горных голов, скругленных самим Временем,

поплыл над склонами и срезами малых вершин, подобных тому Маральему утесу, на котором сидит сейчас Серый Вожак.

Далеко-далеко у подножий каменно-лесных волн эти хрипловатые аккорды высекли визг у собак. Прикрикнул на дворняжек человек, вышедший по нужде, но те уже забились под крыльцо и там тихонько поскуливали. Рядом с человеком темно застыла остроухая лайка, горло ее напряглось, завибрировало, когда новая волна волчьей волшбы скатилась к ним. «Воет... с-стерва», – пробормотал человек, заходя в дом, потом высунул в незакрытую дверь ружьё и разрядил оба ствола в морозный воздух.

До Вожака не дошли ни визг, ни выстрелы.

Он выл, не обращая внимания на удивление стаи, пел, не ощущая ни голода, ни любви. Волк обнажал тяжёлые клокочущие тоны, словно поминая погибшего, на кончине которого оказался случайно. Он чаровал себя самого, вслушиваясь в уплывающие звуки, и словно удивлялся собственному существованию.

Но великан-марал не слышит его. В стылом бархате глаз Благородного оленя нет ни проклятья, ни прощения. В глазах отражаются чуть розовеющие тёмно-графичные контуры его гор в занимающемся новом утре.

II

...Старой маралухе снова повезло. Совсем неслышно, невесомо и осторожно проскользнула она мимо отары в привычную, круто опускающуюся к реке щель. Река бурлила уже недалеко, изредка на перепадах глухо хлопали камни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.